ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

ПОСТОЯНСТВО

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

ПОСТОЯНСТВО

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1991

Составитель
А. А. КРУТИЦКИЙ

Художник
ДМИТРИЙ МУХИН

Смеляков Я. В.

С 50 Постоянство: Стихи.— М.: Советский писатель, 1991.— 224 с.

ISBN 5—265—01294—X

Ярослав Васильевич Смеляков (1913—1972) — признанный мастер советской поэзии.

В книгу «Постоянство» вместе с известнейшими творениями Смелякова вошли произведения, которые поэт так и не смог напечатать при жизни. Жесткие и откровенные, они впервые приходят к читателю лишь сегодня — в пору решительных общественных перемен.

С $\frac{4702010202-335}{083(02)-91}$ 231—90 ББК 84 Р7

ПОПЫТКА ЗАВЕЩАНИЯ

Т. С.

Когда умру, мои останки,
с печалью сдержанной, без слез,
похорони на полустанке
под сенью слабою берез.

Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером, тогда,
не останавливаясь, мимо
шли с ровным стуком поезда.

Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко и темно.
Лети, светясь неподалеку,
вагона дальнего окно.

Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет...

1964

ТРИ ВИТЯЗЯ

Мы шли втроем с рогатиной на слово
и вместе слезли с тройки удалой —
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярда и пивной.

Был первый точно беркут на рассвете,
летящий за трепещущей лисой.
Второй был неожиданным,
а третий —
угрюмый, бледнолицый и худой.

Я был тогда сутулым и угрюмым,
хоть мне в игре —
пока еще — везло,
уже тогда предчувствия и думы
избороздили юное чело.

А был вторым поэт Борис Корнилов,—
я и в стихах и в прозе написал,
что он тогда у общего кормила
недвижно скособочившись стоял.

А первым был поэт Васильев Пашка,
златоволосый хищник ножевой —
не маргариткой
вышита рубашка,
а крестиком — почти за упокой.

Мы вместе жили, словно бы артельно,
но вроде бы, пожалуй что,
не так —
стихи писали разно и отдельно,
а гонорар несли в один кабак.

По младости или с похмелья —
сдуру,
блюдя все время заповедный срок,
в российскую свою литературу
мы принесли достаточный оброк.

У входа в зал,
на выходе из зала,
метельной ночью, утренней весной
над нами тень Багрицкого витала
и шелестел Есенин за спиной.

...Второй наш друг,
еще не ставший старым,
морозной ночью арестован был
и на дощатых занарымских нарах
смежил глаза и в бозе опочил.

На ранней зорьке, пулею туземной,
расстрелян был казачества певец,
и покатился вдоль стены тюремной
его златой надтреснутый венец.

А я вернулся в зимнюю столицу
и стал теперь в президиумы вхож.
Такой же злой, такой же остролицый,
но спрятавший
для обороны — нож.

Вот так втроем мы отслужили слову
и искупили хоть бы часть греха —
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя российского стиха.

21 декабря 1967

* * *

Я не знаю, много или мало
мне еще положено прожить,
засыпать под ветхим одеялом,
ненадежных девочек любить.

Опустив веснушчатые руки,
наблюдать, как падает звезда,
и глазами, желтыми от скуки,
провожать глухие поезда.

Тишина. Преобладают тени.
Падают на землю небеса.
Никаких таких произведений
я пока еще не написал.

Только мне невероятно мало,—
открывая старые пути,
по пустым селениям журналов
грустным и задумчивым пройти.

Я стою.
Опущены постромки,
незаметно заметает след.
Принесут ехидные потомки
белые полотнища анкет.

Что я им отвечу, сочинивший
несколько посредственных стихов?
Чем я им отвечу, износивший
ящики дубовых сапогов?

Не был я ведущим или модным,
без меня дискуссия идет.
Михаил Семенович Голодный
против сложной рифмы восстает.

Супротив кого ты восставала
и кому ходила вопреки,
песнь моя?
От Юга до Урала
подымают головы враги.

Враг идет, зеленый и небритый,
на весну и на моих друзей.

Бей его штыком и динамитом,
словом золотым.
И недобитых —
словом перекошенным добей.

Я хочу усталыми руками
трогать свой незавершенный мир
полновесно (каменщики — камень),
улыбаясь — как литейшик пламя
или как рассаду — бригадир.

И для этого — идти по лету,
по цветам, по первому песку,
позабыв фамилии поэтов,
потеряв московскую тоску.

И прийти туда, где мимо леса
пролетает звучная вода,
где почти железные черкесы
землю изучают по складам.

Там сидят, не ведая хворобы,
распивая круглые чаи,
рыжие от счастья землеробы,
сверстники тяжелые мои.

И, сухие плечи подымая,
открывая новые края,
там стоит посередине мая
женщина последняя моя.

Затянуться резаной махоркой,
чтобы дым, ленивый и кривой,
голубой и, вероятно, горький,
тихо пролетел над головой.

И сказать товарищам:
«Спасибо
за огонь, за неуютный кров,
за уроки ненависти. Ибо
я познал строение миров.

Я увидел каменные печи
и ушел, запомнив навсегда,
как поет почти по-человечьи
в чайниках сидящая вода».

И уйти под ветром, по знакомым
перекресткам, разбивая лед.

Баба, возвращаясь из райкома,
песенки нескладные поет.

Так меня носила и качала
тишина.
И в этой тишине
песни непонятное начало
глухо подымается во мне.

1933

ЛЮБКА

Посредине лета
высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
сядем, моя Люба.
Сядем посмеемся,
Любка Фейгельман!

Гражданин Вертинский
вертится. Спокойно
девочки танцуют
английский фокстрот.
Я не понимаю,
что это такое,
как это такое
за сердце берет?

Я хочу смеяться
над его искусством,
я могу заплакать
над его тоской.
Ты мне не расскажешь,
отчего нам грустно,
почему нам, Любка,
весело с тобой?

Только мне обидно
за своих поэтов.
Я своих поэтов
знаю наизусть.
Как же это вышло,
что июньским летом
слушают ребята
импортную грусть?

Вспомним, дорогая,
осень или зиму,
синие вагоны,
ветер в сентябре,
как мы целовались,
проезжая мимо,
что мы говорили
на твоем дворе.

Затоскуем, вспомним
пушкинские травы,
дачную платформу,
пятизвездный лед,
как мы целовались
у твоей заставы,
рядом с телеграфом,
около ворот.

Как я от райкома
ехал к лесорубам.
И на третьей полке,
занавесив свет:
«Здравствуй, моя Любка»,
«До свиданья, Люба!» —
подпевал ночами
пасмурный сосед.

И в кафе на Трубной
золотые трубы —
только мы входили —
обращались к нам:
«Здравствуйте,
пожалуйста,
заходите, Люба!
Оставайтесь с нами,
Любка Фейгельман!»

Или ты забыла
кресло бельэтажа,
оперу «Русалка»,
пьесу «Ревизор»,
гладкие дорожки
сада «Эрмитажа»,
долгий несерьезный
тихий разговор?

Ночи до рассвета,
до моих трамваев.
Что это случилось?
Как это поймешь?
Почему сегодня
ты стоишь другая?
Почему с другими
ходишь и поешь?

Мне передавали,
что ты загуляла —
лаковые туфли,
брошка, перманент.
Что с тобой гуляет
розовый, бывалый,
двадцатитрехлетний
транспортный студент.

Я еще не видел,
чтоб ты так ходила —
в кенгуровой шляпе,
в кофте голубой.
Чтоб ты провалилась,
если все забыла,
если ты смеешься
нынче надо мной!

Вспомни, как с тобою
выбрали обои,
меховую шубу,
кожаный диван.
До свиданья, Люба!
До свиданья, что ли?
Все ты потопила,
Любка Фейгельман.

Я уеду лучше,
поступлю учиться.
выправлю костюмы,
буду кофий пить.
На другой девчонке
я могу жениться,
только ту девчонку
так мне не любить.

Только с той девчонкой
я не буду прежним.
Отошли вагоны,
отцвела трава.
Что ж ты обманула
все мои надежды,
что ж ты осмеяла
лучшие слова?

Стираная юбка,
глаженая юбка,
шелковая юбка
нас ввела в обман.

До свиданья, Любка,
до свиданья, Любка!
Слышишь?
До свиданья,
Любка Фейгельман!

1934

МАМА

Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней — увенчанный и увечный —
делиться удачей, печаль скрывать —
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама на сундук, а гостям — кровать.

Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.

Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого — пожалеет, кого — поздравит,
кого — подбодрит, а кого — поправит.
Совесть людская. Мама моя.

Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная — рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.

Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться — как будто! — лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.

Мне бы с тобою все время ладить,
все бы морщины твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.

1938

* * *

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня
в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом в осенних цветах.

Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь,
серебро водопада —
вот чем стоит лечить.

От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь — почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.

1940

* * *

Вот женщина,
которая, в то время
как я забыл про горести свои,
легко несет недюжинное бремя
моей печали и моей любви.

Играет ветер кофтой золотистой.
Но как она степенна и стройна,
какою целомудренной и чистой
мне кажется теперь моя жена!

Рукой небрежной волосы отбросив,
не опуская ясные глаза,
она идет по улице,
как осень,
как летняя внезапная гроза.

Как стыдно мне,
что, живший долго рядом,
в сумятице своих негромких дел
я заспанным, нелюбопытным взлядом
еще тогда ее не разглядел!

Прости меня за жалкие упреки,
за вспышки безрассудного огня,
за эти непридуманные строки,
далекая красавица моя.

1935—1937

* * *

Ты все молодишься. Все хочешь
забыть, что к закату идешь:
где надо смеяться — хохочешь,
где можно заплакать — поешь.

Ты все еще жаждешь обманом
себе и другим доказать,
что юности легким туманом
ничуть не устала дышать.

Найдешь ли свое избавленье,
уйдешь ли от боли своей
в давно надоевшем круженье,
в свечении праздных огней?

Ты мечешься, душу скрывая
и горькие мысли тая,
но я-то доподлинно знаю,
в чем кроется сущность твоя.

Но я-то отчетливо вижу,
что смысл недомолвок твоих
куда человечней и ближе
актерских повадок пустых.

Но я-то давно вдохновеньем
считать без упрека готов
морщинки твои — дуновенье
сошедших со сцены годов.

Пора уже маску позерства
на честную позу сменить.
Затем что довольно притворства
и правдою, трудной и черствой,
у нас полагается жить.

Глаза, устремленные жадно.
Часов механический бой.
То время шумит беспощадно
над бедной твоей головой.

1940

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Ее золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по белому ситцу,
как в поле, мелькают цветы.

И вовсе, представьте, неплохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пыльцою веснушек
засыпал ей утром постель.

Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.

В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же
она
хороша?

Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милой ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида»,—
в отчаянье он написал.

Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.

Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.

Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость — вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.

На полюсе Южном — огнями,
пшеницей — в кубанских степях,
на русских полянах — цветами
и пеной морской на морях.

Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет.

Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.

1940 или 1941

СУДЬЯ

Упал на пашне у высотки
суровый мальчик из Москвы,
и тихо сдвинулась пилотка
с пробитой пулей головы.

Не глядя на беззвездный купол
и чуя веянье конца,
он пашню бережно ощупал
руками быстрыми слепца.

И уходя в страну иную
от мест родных невдалеке,
он землю теплую, сырую
зажал в коснеющей руке.

Горсть отвоеванной России
он захотел на память взять,
и не сумели мы, живые,
те пальцы мертвые разжать.

Мы так его похоронили —
в его военной красоте —
в большой торжественной могиле
на взятой утром высоте.

И если правда будет время,
когда людей на Страшный суд
из всех земель, с грехами всеми
трикратно трубы призовут,—

предстанет за столом судейским
не бог с туманной бородой,
а паренек красноармейский
пред потрясенною толпой,

держа в своей ладони правой,
помятой немцами в бою,
не символы небесной славы,
а землю русскую, свою.

Он все увидит, этот мальчик,
и ни йоты не простит,
но лесть — от правды,
боль — от фальши
и гнев — от злобы отличит.

Он все узнает оком зорким,
с пятном кровавым на груди,
судья в истлевшей гимнастерке,
сидящий молча впереди.

И будет самой высшей мерой,
какою мерить нас могли,
в ладони юношеской серой
та горсть тяжелая земли.

1945

* * *

У насыпи братской могилы
я тихо, как память, стою,
в негнущихся пальцах сжимая
гражданскую шапку свою.

Под темными лапами елей,
в глубокой земле, как во сне,
вы молча и верно несете
сверхсрочную службу стране.

Всей верой своей человечьей,
и мыслью, и сердцем своим
мы верим погибшим солдатам,
и мертвые верят живым.

Так вечная слава убитым
и вечная слава живым!
Склонившись, как над колыбелью,
мы в ваши могилы глядим.

И мертвых нетленные очи,
победные очи солдат,
как звезды сквозь облако ночи,
на нас, не мерцая, глядят.

1945

ЗЕМЛЯ

Тихо прожил я жизнь человечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.

Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.

Для нее ничего не жалея,
я лишался покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.

Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей,
так, как женщины возят детей.

Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.

Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным —
даже окиси привкус во рту.

Даже жесткие эти морщины,
что на лбу и по щёкам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.

Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.

Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют...
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.

1945

* * *

В родной земле полковник и солдат,
закрыв глаза, навытяжку лежат.
Они все время думают о том,
как мы воюем и как мы живем.

Часы Москвы пробили поздний час,
но мы еще не закрывали глаз:
на жестких койках в комнатах больших
мы до рассвета думаем о них.

В могиле общей тесно и темно;
а в общежитье светится окно,
и за столом безрукий инвалид
о подвигах и битвах говорит.

Мой храбрый друг, сраженный наповал,
я за тебя войну довоевал,
две пули слал, губителей губя:
одну — свою, вторую — за тебя.

В подземных штреках я не позабыл,
что больше битвы шахту ты любил,
две нормы сделал, помня и любя:
одну — свою, другую — за тебя.

А над могилой, в облаке ветвей,
две песни спел залетный соловей
о славной смерти, о большой судьбе:
одну — о нас, вторую — о тебе.

1947

ПАРЕНЕК

Рос мальчишка, от других отмечен
только тем, что волосы мальца
вились так, как вьются в тихий вечер
ласточки у старого крыльца.

Рос парнишка, видный да кудрявый,
окруженный ветками берез,
всей деревни молодость и слава —
золотая ярмарка волос.

Девушки на улице смеются,
увидав любимца своего,
что вокруг него подруги вьются,
вьются, словно волосы его.

Ах, такие волосы густые,
что невольно тянется рука
накрутить на пальчики пустые
золотые кольца паренька.

За спиной деревня остается,—
юноша уходит на войну.
Вьется волос, длинный волос вьется,
как дорога в дальнюю страну.

Паренька соседи вспоминают
в день, когда, рожденная из тьмы,
вдоль деревни вьюга навевает
белые морозные холмы.

С орденом кремлевским воротился
юноша из армии домой.
Знать, напрасно черный ворон вился
над его кудрявой головой.

Обнимает мать большого сына,
и невеста смотрит на него...
Ты развейся, женская кручина,
завивайтесь, волосы его!

1945

МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ

В буре электрического света
умирает юная Джульетта.

Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.

В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.

Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.

В блиндажах подземных, а не в сказке
наши жены примеряли каски.

Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.

На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.

Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.

Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.

Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.

Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.

Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.

1945 (?)

* * *

Вот опять ты мне вспомнилась, мама,
и глаза твои, полные слез,
и знакомая с детства панама
на венке поредевших волос.

Оттеняя терпенье и ласку,
потемневшая в битвах Москвы,
материнского воинства каска —
украшенье седой головы.

Все стволы, что по русским стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей.

Ты заштопала их, моя мама,
но они все равно мне видны,
эти грубые длинные шрамы —
беспощадные метки войны...

Дай же, милая, я поцелую,
от волненья дыша горячо,
эту бедную прядку седую
и задетое пулей плечо.

В дни, когда из окошек вагонных
мы глотали движения дым
и считали свои перегоны
по дорогам к окопам своим,—

как скульптуры из ветра и стали,
на откосах железных путей
днем и ночью бессменно стояли
батальоны седых матерей.

Я не знаю, отличья какие,
не умею я вас разделять:
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать.

Это слово протяжно и кратко
произносят на весях родных
и младенцы в некрепких кроватках,
и солдаты в могилах своих.

Больше нет и не надо разлуки,
и держу я в ладони своей
эти милые трудные руки,
словно руки России моей.

1945

ПЕСНЯ

Мать ждала для сына легкой доли —
сын лежит, как витязь, в чистом поле.

В чистом поле, на земле советской,
пулею подкошенный немецкой.

Мать ждала для дочери венчанья,
а досталось дочери молчанье.

Рыжие фельдфебели в подвале
три недели доченьку пытали.

Три недели в сумраке подвала
ничего она им не сказала.

Только за минуту до расстрела
вспомнила про голос и запела.

Ах, не плачет мать и не рыдает,
имена родные повторяет.

Разве она думала-рядила,
что героев времени растила?

В тонкие пеленки пеленала,
в теплые сапожки обувала...

1946

АЛЕНУШКА

У моей двоюродной
сестрички
твердый шаг
и мягкие косички.

Аккуратно
платьице пошито.
Белым мылом
лапушки помыты.

Под бровями
в солнечном покое
тихо светит
небо голубое.

Нет на нем ни облачка,
ни тучки.
Детский голос.
Маленькие ручки.

И повязан крепко,
для примера,
красный галстук —
галстук пионера.

Мы храним —
Аленушкино братство —
нашей Революции
богатство.

Вот она стоит
под небосводом,
в чистом поле,
в полевом венке —

против вашей
статуи Свободы
с атомным светильником
в руке.

1946

КРЕМЛЕВСКИЕ ЕЛИ

Это кто-то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привез
не плакучее
празднество ивы
и не легкую сказку
берез.

Пусть кремлевские
темные ели
тихо-тихо
стоят на заре,
островерхие
дети метели —
наша память
о том январе.

Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.

1945

ПРЯХА

Раскрашена розовым палка,
дощечка сухая темна.
Стучит деревянная прялка.
Старуха сидит у окна.

Бегут, утончаясь от бега,
в руке осторожной гудя,
за белою ниткою снега
весенняя нитка дождя.

Ей тысяча лет, этой пряхе,
а прядей не видно седых.
Работала при Мономахе,
при правнуках будет твоих.

Ссыпается ей на колени
и стук партизанских колес,
и пепел сожженных селений,
и желтые листья берез.

Прядет она ветер и зори,
и мирные дни и войну,
и волны свободные моря,
и радиостанций волну.

С неженскою гордой любовью
она не устала сучить
и нитку, намокшую кровью,
и красного знамени нить.

Декабрь сменяется маем,
цветы окружают жилье,
идут наши дни, не смолкая,
сквозь темные пальцы ее.

Суровы глаза голубые,
сияние молний в избе.
И ветры огромной России
скорбят и ликуют в трубе.

1946

КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.

Словно распад сознанья —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Градусники разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.

Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоет солдат.

Вихрем песка ночного
будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.

Стали чугунным прахом
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.

Эти дворцы металла
строил союз труда:
слесари и шахтеры,
села и города.

Шапку сними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
щеки твои бледны.

Произносить не надо
ни одного из слов.
Ненависть молча зреет,
молча цветет любовь.

Тут ведь одно железо.
Пусть оно учит всех.
Медленно и спокойно
падает первый снег.

1946

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нам время не даром дается.
Мы трудно и гордо живем.
И слово трудом достается,
и слава добыта трудом.

Своей безусловною властью,
от имени сверстников всех,
я проклял дешевое счастье
и легкий развеял успех.

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Меня — понимаете сами —
чернильным пером не убить,
двумя не прикончить штыками
и в три топора не свалить.

Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Я начал — векам в назиданье —
на поле вчерашней войны
торжественный день созиданья,
строительный праздник страны.

1947

* * *

Там, где звезды светятся в тумане,
мерным шагом ходят марсиане.

На холмах монашеского цвета
ни травы и ни деревьев нету.

Серп не жнет, подкова не куется,
песня в тишине не раздается.

Нет у них ни счастья, ни тревоги —
все отвергли маленькие боги.

И глядят со скукой марсиане
на туман и звезды мирозданья.

...Сколько раз, на эти глядя дали,
о величье мы с тобой мечтали!

Сколько раз стояли мы смиренно
перед грозным заревом Вселенной!

...У костров солдатского привала
нас иное пламя озаряло.

На морозе, затаив дыханье,
выпили мы чашу испытанья.

Молча братья умирали в ротах,
пели школьницы на эшафотах.

И решили пехотинцы наши
вдоволь выпить из победной чаши.

Было марша нашего начало —
как начало горного обвала.

Пыль клубилась. Пенились потоки.
Трубачи трубили, как пророки.

И солдаты медленно, как судьи,
наводили тяжкие орудья.

Дым сраженья и труба возмездья.
На фуражках алые созвездья.

...Спят поля, засеянные хлебом.
Звезды тихо освещают небо.

В темноте над братскою могилой
пять лучей звезда распространила.

Звезды полуночные России.
Звездочки армейские родные.

...Телескопов чудное мерцанье
мне сегодня чудится вдали:

словно дети, смотрят марсиане
на Великих жителей Земли.

1946

ПАМЯТНИК

Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.

Рука моя трудна мне и темна,
и сердце у меня из чугуна.

В сознании, как в ящике, подряд
чугунные метафоры лежат.

И я слежу за чередою дней
из-под чугунных сдвинутых бровей.

Вокруг меня деревья все пусты,
на них еще не выросли листы.

У ног моих на корточках с утра
самозабвенно лазит детвора,

а вечером, придя под монумент,
толкует о бессмертии студент.

Когда взойдет над городом звезда,
однажды ночью ты придешь сюда.

Все тот же лоб, все тот же синий взгляд,
все тот же рот, что много лет назад.

Как поздний свет из темного окна,
я на тебя гляжу из чугуна.

Недаром ведь торжественный металл
мое лицо и руки повторял.

Недаром скульптор в статую вложил
все, что я значил и зачем я жил.

И я сойду с блестящей высоты
на землю ту, где обитаешь ты.

Приближусь прямо к счастью своему,
рукой чугунной тихо обниму.

На выпуклые грозные глаза
вдруг набежит чугунная слеза.

И ты услышишь в парке под Москвой
чугунный голос, нежный голос мой.

1946

ЗЕМЛЯКИ

Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегает конвой.

Мы прямо лезем, словно танки,
Неотвратимо, будто рок,
На нас — бушлаты и ушанки,
Уже прошедшие свой срок.

И на ходу колонне встречной,
Идущей в свой тюремный дом,
Один вопрос, тот самый вечный,
Сорвавши голос, задаем.

Он прозвучал нестройным гулом
В краю морозной синевы:
«Кто из Смоленска?
Кто из Тулы?
Кто из Орла?
Кто из Москвы?»

И слышим выкрик деревенский,
И ловим отклик городской,
Что есть и тульский, и смоленский,
Есть из поселка под Москвой.

Ах, вроде счастья выше нету —
Сквозь индевелые штыки
Услышать хриплые ответы,
Что есть и будут земляки.

Шагай, этап, быстрее,
шибко,
Забыв о собственном конце,
С полублаженною улыбкой
На успокоенном лице.

Ноябрь 1964. Переделкино

ШИНЕЛЬ

Когда метет за окнами метель,
сияньем снега озаряя мир,
мне в камеру бросает конвоир
солдатскую ушанку и шинель.

Давным-давно, одна на коридор,
в часы прогулок служит всем она:
ее носили кража и террор,
таскали генералы и шпана.

Она до блеска вытерта,
притом
стараниям портного вопреки
ее карман заделан мертвым швом,
железные отрезаны крючки.

Но я ее хватаю на лету,
в глазах моих от радости темно.
Еще хранит казенное сукно
недавнюю людскую теплоту.

Безвестный узник, сын моей земли,
как дух сомненья ты вошел сюда,
и мысли заключенные прожгли
прокладку шапки этой навсегда.

Пусть сталинский конвой невдалеке
стоит у наших замкнутых дверей.
Рука моя лежит в твоей руке,
и мысль моя беседует с твоей.

С тобой вдвоем мы вынесем тюрьму,
вдвоем мы станем кандалы таскать,
и если царство вверят одному,
другой придет его поцеловать.

Вдвоем мы не боимся ничего,
вдвоем мы сможем мир завоевать,
и если будут вешать одного,
другой придет его поцеловать.

Как ум мятущийся,
ум беспокойный мой,
как душу непреклонную мою,
сидящему за каменной стеной
шинель и шапку я передаю.

1953. Инта, лагерь

КНЯЗЬ СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

Князь Курбский от царского гнева бежал...

А. Толстой.

Князь Мирский бежал из России.
Ты брось осуждать, погоди!
В те дни, когда шли затяжные,
без малых просветов, дожди.

И вот он, измявши окурки
в предчувствье невиданных стран,
на месте дождей Петербурга
увидел английский туман.

Но правда, рожденная в Смольном
октябрьским сумрачным днем,
дошла до него, пусть окольным,
пускай околичным путем.

И князь возвратился в Россию,
как словно во сне, наяву.
Весенние ветры сквозные
в тот день продували Москву.

Белье за окном на веревке,
заплеванный маленький зал.
Он в этой фабричной столовке
о Рюриковичах рассуждал.

Тут вовсе не к месту детали,
как капельки масла в воде.
Его второпях расстреляли
в угодьях того МВД.

В июне или там в июле —
я это успел позабыть,—
но лучше уж русскую пулю
на русской земле получить.

1966

ПИСЬМО ДОМОЙ

Твое письмо пришло без опозданья,
и тотчас — не во сне, а наяву,—
как младший лейтенант на спецзаданье,
я бросил все и прилетел в Москву.

А за столом, как было в даты эти
у нас давным-давно заведено,
уже сидели женщины и дети,
искрился чай, и булькало вино.

Уже шелка слегка примяли дамы,
не соблюдали девочки манер,
и свой бокал по-строевому прямо
устал держать заезжий офицер.

Дым папирос под люстрою клубился,
сияли счастьем личики невест.
Вот тут-то я как раз и появился
как некий ангел отдаленных мест.

В казенной шапке, в лагерном бушлате,
полученном в интинской стороне,
без пуговиц, но с черною печатью,
поставленной чекистом на спине.

Так я предстал пред вами, осужденный
на вечный труд неправедным судом,
с лицом по-старчески изнеможденным,
с потухшим взглядом и умолкшим ртом.

Моя тоска твоих гостей смутила.
Смолк разговор, угас застольный пыл...
Но, боже мой, ведь ты сама просила,
чтоб в этот день я вместе с вами был!

1953. Инта, лагерь

ВОРОБЫШЕК

До Двадцатого до съезда
жили мы по простоте —
безо всякого отъезда
в дальнем городе Инте.

Там ни дерева, ни тени,
ни песка на берегу —
только снежные олени
да собаки на снегу.

Но однажды в то окошко,
за которым я сидел,
по наитью и оплошке
воробьишко залетел.

Небольшая птаха эта,
неказиста, весела
(есть народная примета),
мне свободу принесла.

Благодарный честно, крепко,
спозаранку или днем
я с тех пор снимаю кепку
перед каждым воробьем.

Верю глупо и упрямо,
с наслажденьем правоты,
что повсюду тот же самый
воробьишка из Инты.

Позабылось быстро горе,
я его не берегу,
а сижу на Черном море,
на апрельском берегу...

Но и здесь, как будто дома,—
не поверишь, так убей! —
скачет старый мой знакомый,
приполярный воробей.

Бойко скачет по дорожке,
славословий не поет
и мои — ответно — крошки
по-достойному клюет.

1966

ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА

Я остался и нежным, и резким —
тем, каким меня знали всегда,
но вернулся из дальней поездки
не таким, как уехал туда.

В каждом чуть изменившемся жесте
я невольно ответно сберег
продолжение всех путешествий,
повороты и локти дорог.

Из дорожных моих впечатлений
ничего не пропало вдали,
и на лоб полуясные тени
для других незаметно легли.

Двери в собственный дом открывая,
надевая в передней пальто,
непривычно в себе ощущаю
путешествие дальнее то.

1964

* * *

На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.

Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамен
и нет скорбящих изваяний.

Ни обелиска, ни креста,
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты.

Да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.

1964

РЯЗАНСКИЕ МАРАТЫ

Когда-нибудь, пускай предвзято,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты
далеких дней, двадцатых лет.

Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
похлебка классовой борьбы.

Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача

и — с ходу — уезжали сами
туда, с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впотьмах.

Не потаенно, не келейно —
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.

Не раз, не раз за эти годы —
на свете нет тяжельше дел! —
людей, от имени народа,
вы посылали на расстрел.

Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и моленен,
средь бескорыстья и растрат.

Не колебались вы нимало.
За ваши подвиги страна
вам — равной мерой — выдавала
выговора и ордена.

И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.

Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.

1961

КУРСИСТКА

Казематы жандармского сыска,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала курсистка
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.

Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти,—
Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.

Только мысли, подобные стали,
Пронизали ее житие.
Все враги перед ней трепетали,
И свои опасались ее.

Но по-своему движутся годы,
Возникают базар и уют,
И тебе настоящего хода
Ни вверху, ни внизу не дают.

Время все-таки вносит поправки,
И тебя еще в тот наркомат
Из негласной почетной отставки
С уважением вдруг пригласят.

В неподкупном своем кабинете,
В неприкаянной келье своей,
Простодушно, как малые дети,
Ты допрашивать станешь людей.

И начальники нового духа,
Веселясь и по-свойски грубя,
Безнадежно отсталой старухой
Сообща посчитают тебя.

Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд —
И тебя самое под конвоем
По советской земле повезут.

Не увидишь и малой поблажки,
Одинаков тот самый режим:
Проститутки, торговки, монашки
Окружением будут твоим.

Никому не сдаваясь, однако
(Ни письма, ни посылочки нет!),
В полутемных дощатых бараках
Проживешь ты четырнадцать лет.

И старухе, совсем остролицей,
Сохранившей безжалостный взгляд,
В подобревшее лоно столицы
Напоследок вернуться велят.

В том районе, просторном и новом,
Получив как писатель жилье,
В отделении нашем почтовом
Я стою за спиною ее.

И слежу, удивляясь не слишком —
Впечатленьями жизнь не бедна,—
Как свою пенсионную книжку
Сквозь окошко толкает она.

Февраль 1963. Переделкино

ПИСЬМО В РАЙОННЫЙ ГОРОД

> Пишет Вам неизвестная личность, не знавшая Вас во времена жизни моего сына Бори Корнилова, который, как мне известно, был близким Вам другом.
>
> *Из письма Т. М. Корниловой*

Где-то там, среди холмов дубравных,
в тех краях, где соловьев не счесть,
в городе Семенове неславном
улица Учительская есть.

Там-то вот, как ей и подобает,
с пенсией, как мать и как жена,
век свой одиноко коротает
бедная старушечка одна.

Вечером, небрежно и устало,
я открыл оттуда письмецо,
и опять, как в детстве, запылало
бледное недоброе лицо.

Кровь моя опять заговорила,
будто старый узник под замком.
Был ты мне, товарищ мой Корнилов,
чуть ли не единственным дружком.

Мир шагал навстречу двум поэтам,
распрекрасный с маковки до пят.
Впрочем, я писал уже об этом,
пусть меня читатели простят.

Получил письмо я от старушки
и теперь не знаю, как мне быть:
может быть, пальнуть из главной пушки
или заседанье отменить?

Не могу проникнуть в эту тайну,
не владею почерком своим.
Как мне объяснить ей, что случайно
мы местами обменялись с ним?

Поменялись как, не знаем сами,
виноватить в этом нас нельзя —
так же, как нательными крестами
пьяные меняются друзья.

Он бы стал сейчас лауреатом,
я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
он-то предо мной не виноват.

1967

РУССКИЙ ЯЗЫК

У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.

Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.

Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.

Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.

Вы, прадеды наши, в недоле,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.

Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.

Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной,
и белым лебяжьим пером.

Ты — выше цены и расценки —
в году сорок первом потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.

Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.

1945 — 1966

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

С закономерностью жестокой
и ощущением вины
мы нынче тянемся к истокам
своей российской старины.

Мы заспешили сами, сами
не на экскурсии, а всласть
под нисходящими ветвями
к ручью заветному припасть.

Ну что ж! Имеет право каждый.
Обязан даже, может быть,
ту искупительную жажду
хоть запоздало утолить.

И мне торжественно невольно,
я сам растрогаться готов,
когда вдали на колокольне
раздастся звон колоколов.

Не как у зрителя и гостя
моя кружится голова,
когда услышу на бересте
умолкших прадедов слова.

Но в этих радостях искомых
не упустить бы, на беду,
красноармейского шелома
пятиконечную звезду.

Не позабыть бы, с обольщеньем
в соборном роясь серебре,
второе русское крещенье
осадной ночью на Днепре.

...Не оглядишь с дозорной башни
международной широты,
той, что вошла активно в наши
национальные черты.

1969

* * *

Приезжают в столицу
смиренно и бойко
молодые Есенины
в красных ковбойках.

Поглядите,
оставив предвзятые толки,
как по-детски подрезаны
наглые челки.

Разверните,
хотя б просто так,
для порядка,
их измятые в дальней дороге
тетрадки.

Там
на фронте безвкусицы и дребедени
ослепляющий образ
блеснет на мгновенье.

Там
среди неумелой мороки
вдруг возникнут
почти гениальные строки.

...Пусть придет к ним
потом, через годы, по праву
золотого Есенина
звонкая слава.

«Дай лишь бог,— говорю я,
идя стороною,—
чтобы им
(извините меня за отсталость)
не такою она доставалась ценою,
не такою ценою она доставалась».

1964

ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА

Свечение капель и пляска.
Открытое ночью окно.
Опять начинается сказка
на улице, возле кино.

Не та, что придумана где-то,
а та, что течет надо мной,
сопутствует мраку и свету,
в пыли существует земной.

Есть милая тайна обмана,
журчащее есть волшебство
в струе городского фонтана,
в цветных превращеньях его.

Я, право, не знаю, откуда
свергаются тучи, гудя,
когда совершается чудо
шумящего в листьях дождя.

Как чаша содружества брагой,
московская ночь до окна
наполнена темною влагой,
мерцанием капель полна.

Мне снова сегодня семнадцать.
По улицам детства бродя,
мне нравится петь и смеяться
под зыбкою кровлей дождя.

Я вновь осенен благодатью
и встречу сегодня впотьмах
принцессу в коротеньком платье,
с короной дождя в волосах.

1947

МАНОН ЛЕСКО

Много лет и много дней назад
жил в зеленой Франции аббат.

Он великим сердцеведом был.
Слушая, как пели соловьи,
он, смеясь и плача, сочинил
золотую книгу о любви.

Если вьюга заметает путь,
хорошо у печки почитать.
Ты меня просила где-нибудь
эту книгу старую достать.

Но тогда была наводнена
не такими книжками страна.

Издавались книги про литье,
книги об уральском чугуне,
а любовь и вестники ее
оставались как-то в стороне.

В лавке букиниста-москвича
все-таки попался мне аббат,
между штабелями кирпича,
рельсами и трубами зажат.

С той поры, куда мы ни пойдем,
оглянуться стоило назад —
в одеянье стареньком своем
всюду нам сопутствовал аббат.

Не забыл я милостей твоих,
и берет не позабыл я твой,
созданный из линий снеговых,
связанный из пряжи снеговой.

...Это было десять лет назад.
По широким улицам Москвы
десять лет кружился снегопад
над зеленым празднеством листвы.

Десять раз по десять лет пройдет.
Снова вьюга заметет страну.
Звездной ночью юноша придет
к твоему замерзшему окну.

Изморозью тонкою обвит,
до утра он ходит под окном.
Как русалка, девушка лежит
на диване кожаном твоем.

Зазвенит, заплещет телефон,
в утреннем ныряя серебре.
И услышит новая Манон
голос кавалера де Грие.

Женская смеется голова,
принимая счастие и пыл...
Эти сумасшедшие слова
я тебе когда-то говорил.

И опять сквозь русский снегопад
горько улыбается аббат.

1945 (?)

ЖЕНА

Красива и смела
пошедшая со мной —
ты матерью была,
и ты была женой.

Ты все мое добро,
достоинство и честь.
Я дал тебе ребро
и все отдам, что есть.

Как мысли и судьбе,
лопате и перу,
я отдал все тебе,
все от тебя беру.

Дождем меня омой,
печаль моя и смех,
корыстный подвиг мой
и мой невинный грех.

Халатик свой накинь.
Томительно ходи.
Отринь меня, отринь
и снова припади.

И снова, погодя,
неслышно, будто рысь,
нахлынь не отходя,
не уходя вернись.

Дыханием обдуй.
Возьми, как вышний бог,
мой первый поцелуй
и мой последний вздох.

Оплачь невторопях.
Мне речи не нужны —
пусть скатится на прах
слеза моей жены.

Забудь меня, забудь
по счастью своему...
А я с собою в путь
одну ее возьму.

1955

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Татьяне

Не надо роскошных нарядов,
в каких щеголять на балах,—
пусть зимний снежок Ленинграда
тебя одевает впотьмах.

Я радуюсь вовсе недаром
усталой улыбке твоей,
когда по ночным тротуарам
идем мы из поздних гостей.

И, падая с темного неба,
в тишайших державных ночах
кристальные звездочки снега
блестят у тебя на плечах.

Я ночью спокойней и строже,
и радостно мне потому,
что ты в этих блестках похожа
на русскую зиму-зиму́.

Как будто по стежке-дорожке,
идем по проспекту домой.
Тебе бы еще бы сапожки
да белый платок пуховой.

Я, словно родную науку,
себе осторожно твержу,
что я твою белую руку
покорно и властно держу...

Когда открываются рынки,
у запертых на ночь дверей
с тебя я снимаю снежинки,
как Пушкин снимал соболей.

1959

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я был, понятно, счастлив тоже,
когда влюблялся и любил
или у шумной молодежи
свое признанье находил.

Ты, счастье, мне еще являлось,
когда не сразу, неспроста
перед мальчишкой открывалась
лесов и пашен красота.

Я также счастлив был довольно
не каждый день, но каждый год,
когда на празднествах застольных,
как колокол на колокольне,
гудел торжественно народ.

Но это лишь одно вступленье,
вернее, присказка одна.
Вот был ли счастлив в жизни Ленин,
без оговорок и сполна?

Конечно, был.
И не отчасти,
а грозной волей главаря,
когда вокруг кипело счастье
штыков и флагов Октября.

Да, был, хотя и без идиллий,
когда опять, примкнув штыки,
на фронт без песен уходили
Москвы и Питера полки.

Он счастлив был, смеясь по-детски,
когда, знамена пронося,
впервые праздник свой советский
Россия праздновала вся.

Он, кстати, счастлив был и дома,
в лесу, когда еще темно...

Но это счастье всем знакомо,
а то — не каждому дано.

1967

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Куда подевалась, Россия,
поэзия тройки твоей,
глаза твоих женщин косые,
копыта твоих лошадей?!

Куда вы исчезли из вьюги,
полозья рязанских саней,
звучащие черные дуги
и красные розы ноздрей?!

В какой утаились округе,
уйдя от грохочущих дней,
бубенчики, вожжи, подпруги,
медвяные губы подруги
и снежные дуги бровей?!

Но вот я взволнованно вижу,
как Красная площадь кипит.
С минутою каждою ближе
ликующий топот копыт.

Куда ты спешишь? Погоди же!
Но конница мимо летит.

Где двигались медленно танки,
вдоль красных стены и ворот
стучит на колесах тачанки
уже одуревший в гражданке
гражданской войны пулемет.

Стремительно катится лава.
Прорублена в проблеск клинка
посмертная Блюхера слава
и мертвая жизнь Колчака.

Ах, сколько былых генералов
и в штабах своих, и во сне
по площади этой мечтало
на белом проехать коне!

Но все они сгибли, однако,
позорно закончив бои.
Со мной на трибунах рубака
глаза утирает свои.

Испита бесславная чаша,
и выпита чаша побед.

Идет кавалерия наша
на уровне наших ракет.
Зачем же ты плачешь, папаша?
Ведь снег пропусков и ромашек
еще не замел ее след.

Уже через Балчуг и Пресню
устало уходят полки,
и, словно бы красные песни,
за ними летят башлыки.

1967

КОСОВОРОТКА

В музейных залах Ленинграда
я оглядел спокойно их —
утехи бала и парада,
изделья тщательных портных.

Я с безраличием веселым
смотрел на прошлое житье:
полуистлевшие камзолы
и потемневшее шитье.

Но там же, как свою находку,
среди паркета и зеркал
я русскую косоворотку,
едва не ахнув, увидал.

Подружка заводского быта,
краса булыжной мостовой,
была ты скроена и сшита
в какой-то малой мастерской.

Ты, покидая пыльный город,
взаймы у сельской красоты
сама себе взяла на ворот
лужаек праздничных цветы.

В лесу маевки созывая,
ты стала с этих самых пор
такою же приметой мая,
как соловьиный перебор.

О русская косоворотка,
рубаха питерской среды,
ты пахнешь песнею и сходкой,
ты знаешь пляску и труды!

Ты храбро шла путем богатым —
через крамольные кружки,
через трактиры и трактаты
и сквозь конвойные штыки.

Ты не с прошением, а с боем,
свергая ту, чужую власть,
сюда, в дворцовые покои,
осенней ночью ворвалась.

Сюда отчаянно пришла ты
под большевистскою звездой,
с бушлатом, как с матросским братом,
и с гимнастеркою солдата —
своей окопною сестрой.

1959. Ленинград

ПРИЗЫВНИК

Под пристани гомон прощальный,
в селе, где обрыв да песок,
на наш пароходик недальний
с вещичками сел паренек.

Он весел, видать, и обижен,
доволен и вроде как нет,
уже под машинку острижен,
еще по-граждански одет.

По этой по воинской стрижке,
по блеску сердитому глаз
мы в крепком сибирском парнишке
солдата признали сейчас.

Стоял он на палубе сиро
и думал, как видно, что он
от прочих речных пассажиров
незримо уже отделен.

Он был одинок и печален
среди интересов чужих:
от жизни привычной отчалил,
а новой еще не достиг.

Не знал он, когда между нами
стоял с узелочком своим,
что армии красное знамя
уже распростерлось над ним.

Себя отделив и принизив,
не знал он, однако, того,
что слава сибирских дивизий
уже осенила его.

Он вовсе не думал, парнишка,
что в штатской одежде у нас
военные красные книжки
тихонько лежат про запас.

Еще понимать ему рано,
что связаны службой одной
великой войны ветераны
и он, призывник молодой.

Поэтому, хоть небогато,—
нам не с чего тут пировать —
мы, словно бы младшего брата,
решили его провожать.

Решили: хоть чуть, да отметить,
хоть что, но поставить ему.
А что мы там пили в буфете,
сейчас вспоминать ни к чему.

Но можно ли, коль без притворства,
а как это есть говорить,
каким-нибудь клюквенным морсом
солдатскую дружбу скрепить?

1959

СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК

По старинной привычке,
безобидной притом,
обязательно спички
есть в кармане моем.

Заявленье такое
не в урок, не в упрек,
но всегда под рукою —
вот он тут — коробок.

И могу я при этом,
как положено быть,
закурить сигарету
иль кому посветить.

Тут читателю впору —
я на это не зол —
усмехнуться с укором:
«Тоже тему нашел».

Ни к чему уверенья:
лучше вместе, вдвоем
мы по стихотворенью
осторожно пойдем.

То быстрее, то тише
подвигаясь вперед,
прямо к фабрике спичек
нас оно приведет

Солнце греет несильно
по утрам в октябре.
Острый запах осины
на фабричном дворе.

Вся из дерева тоже,
из сосны привозной,
эта фабрика схожа
со шкатулкой резной.

И похоже, что кто-то,
теша сердце свое,
чистотой и работой
всю наполнил ее.

Тут все собрано, сжато,
все стоит в двух шагах,
мелкий стук автоматов
в невысоких цехах.

Шебаршит деловито
в коробках мелкота —
словно шла через сито
вся продукция та.

Озираясь привычно,
я стою в стороне.
Этот климат фабричный
дорог издавна мне.

Тот же воздух полезный,
тот же пристальный труд,
только вместо железа
режут дерево тут.

И большими руками
всю работу ведет
у котлов, за станками
тот же самый народ.

Не поденная масса,
не отходник, не гость —
цех рабочего класса,
пролетарская кость.

Непоспешным движеньем
где-нибудь на ветру
я с двойным уваженьем
в пальцы спичку беру.

Повернувшись спиною,
огонек, как могу,
прикрываю рукою
и второй — берегу,

ощущая потребность,
чтобы он на дворе
догорал, не колеблясь,
как в живом фонаре.

1958. Барнаул

ПЕРВЫЙ БАЛ

Позабыты шахматы и стирка,
брошены вязанье и журнал.
Наша взбудоражена квартирка:
Галя собирается на бал.

В именинной этой атмосфере,
в этой бескорыстной суете
хлопают стремительные двери,
утюги пылают на плите.

В пиджаках и кофтах Москвошвея,
критикуя и хваля наряд,
добрые волшебники и феи
в комнатенке Галиной шумят.

Счетовод районного Совета
и немолодая травести —
все хотят хоть маленькую лепту
в это дело общее внести.

Словно грешник посредине рая,
я с улыбкой смутною стою,
медленно — сквозь шум — припоминая
молодость суровую свою.

Девушки в лицованных жакетках,
юноши с лопатами в руках —
на площадках первой пятилетки
мы и не слыхали о балах.

Разве что под старую трехрядку,
упираясь пальцами в бока,
кто-нибудь на площади вприсядку
в праздники отхватит трепака.

Или, обтянув косоворотку,
в клубе у Кропоткинских ворот
«Яблочко» матросское с охоткой
вузовец на сцене оторвет.

Наши невзыскательные души
были заворожены тогда
музыкой ликующего туша,
маршами ударного труда.

Но, однако, те воспоминанья,
бесконечно дорогие нам,
я ни на какое осмеянье
никому сегодня не отдам.

И в иносказаниях туманных,
старичку брюзгливому под стать,
нынешнюю молодость не стану
в чем-нибудь корить и упрекать.

Собирайся, Галя, поскорее,
над прической меньше хлопочи —
там уже, вытягивая шеи,
первый вальс играют трубачи.

И давно стоят молодцевато
на парадной лестнице большой
с красными повязками ребята
в ожиданье сверстницы одной.

...Вновь под нашей кровлею помалу
жизнь обыкновенная идет:
старые листаются журналы,
пешки продвигаются вперед.

А вдали, как в комсомольской сказке,
за повитым инеем окном
русская девчонка в полумаске
кружится с вьетнамским пареньком.

1956

СТОЛОВАЯ НА ОКРАИНЕ

Люблю рабочие столовки,
весь их бесхитростный уют,
где руки сильные неловко
из пиджака или спецовки
рубли и трешки достают.

Люблю войти вечерним часом
в мирок, набитый жизнью, тот,
где у окна стеклянной кассы
теснится правильный народ.

Здесь стены вовсе не богаты,
на них ни фресок, ни ковров —
лишь розы плоские в квадратах
полуискусных маляров.

Несут в тарелках борщ горячий,
лапша колышется, как зной,
и пляшут гривенники сдачи
перед буфетчицей одной.

Тут, взяв, что надо, из окошка,
отнюдь не кушают — едят,
и гнутся слабенькие ложки
в руках окраинных девчат.

Здесь, обратя друг к дружке лица,
нехитрый пробуя салат,
из магазина продавщицы
в халатах синеньких сидят.

Сюда войдет походкой спорой,
самим собой гордясь в душе,
в таком костюмчике, который
под стать любому атташе,
в унтах, подвернутых как надо,
с румянцем крупным про запас,
рабочий парень из бригады,
что всюду славится сейчас.

Сюда торопятся подростки,
от нетерпенья трепеща,
здесь пахнет хлебом и известкой,
здесь дух металла и борща.

Здесь все открыто и понятно,
здесь все отмечено трудом,
мне все близки и все приятны,
и я не лишний за столом.

1958

РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ

Ты мне сказал, небрежен и суров,
что у тебя — отрадное явленье! —
есть о любви четыреста стихов,
а у меня два-три стихотворенья.

Что свой талант (а у меня он был,
и, судя по рецензиям, не мелкий)
я чуть не весь, к несчастью, загубил
на разные гражданские поделки.

И выходило — мне резону нет
из этих обличений делать тайну,—
что ты — всепроникающий поэт,
а я — лишь так, ремесленник случайный.

Ну что ж, ты прав. В альбомах у девиц,
средь милой дребедени и мороки,
в сообществе интимнейших страниц
мои навряд ли попадутся строки.

И вряд ли, что, открыв красиво рот,
когда замолкнут стопки и пластинки,
мой грубый стих томительно споет
плешивый гость притихшей вечеринке.

Помилуй бог! — я вовсе не горжусь,
а говорю не без душевной боли,
что, видимо, не очень-то гожусь
для этакой литературной роли.

Я не могу писать по пустякам,
как словно бы мальчишка желторотый,—
иная есть нелегкая работа,
иное назначение стихам.

Меня к себе единственно влекли —
я только к вам тянулся по наитью —
великие и малые событья
чужих земель и собственной земли.

Не так-то много написал я строк,
не все они удачны и заметны,
радиостудий рядовой пророк,
ремесленник журнальный и газетный.

Мне в общей жизни, в общем, повезло,
я знал ее и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло
созданию истории подобно.

1961

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Как золотящаяся тучка,
какую сроду не поймать,
мне утром первая получка
сегодня вспомнилась опять.

Опять настойчиво и плавно
стучат машины за стеной,
а я, фабзавучник недавний,
стою у кассы заводской.

И мне из тесного оконца
за честный и нелегкий труд
еще те первые червонцы
с улыбкой дружеской дают.

Мне это вроде бы обычно,
и я, поставя росчерк свой,
с лицом, насильно безразличным,
ликуя, их несу домой.

С тех пор не раз — уж так случилось,
тут вроде нечего скрывать,—
мне в разных кассах приходилось
за песни деньги получать.

Я их писал не то чтоб кровью,
но все же времени черты
изображал без суесловья
и без дешевой суеты.

Так почему же нету снова
в день гонорара моего
не только счастья заводского,
но и достоинства того?

Как будто занят пустяками
средь дел суровых и больших,
и вроде стыдно жить стихами,
и жить уже нельзя без них.

1957

* * *

Бывать на кладбище столичном,
где только мрамор и гранит,—
официально, и трагично,
и скорбно думать надлежит.

Молчат величественно тени,
а ты еще играешь роль,
как тот статист на главной сцене,
когда уже погиб король.

Там понимаешь оробело
полуничтожный жребий свой...

А вот совсем другое дело
в поселке нашем под Москвой.

Так повелось, что в общем духе
по воскресеньям утром тут,
одевшись тщательно, старухи
пешком на кладбище идут.

Они на чистеньком погосте
сидят меж холмиков земли,
как будто выпить чаю в гости
сюда по близости зашли.

Они здесь мраморов не ставят,
а — как живые меж живых —
рукой травиночки поправят,
как прядки доченек своих.

У них средь зелени и праха,
где все исчерпано до дна,
нет ни величия, ни страха,
а лишь естественность одна.

Они уходят без зазнайства
и по пути не прячут глаз,
как будто что-то по хозяйству
исправно сделали сейчас.

1966

ГОЛУБОЙ ДУНАЙ

После бани в день субботний,
отдавая честь вину,
я хожу всего охотней
в забегаловку одну.

Там, степенно выпивая,
я стою наверняка.
В голубом дыму «Дуная»
все колеблется слегка.

Появляются подружки
в окружении ребят;
все стучат сильнее кружки,
колокольчики звенят,

словно в небе позывные,
с каждой стопкой все слышней,
колокольчики России
из степей и от саней.

Ни промашки, ни поблажки,
чтобы не было беды,
над столом тоскует Машка
из рабочей слободы.

Пусть милиция узнает,
ей давно узнать пора:
Машка сызнова гуляет
чуть не с самого утра.

Не бедна и не богата —
четвертинка в самый раз —
заработала лопатой
у писателя сейчас.

Завтра утречком стирает
для соседки бельецо
и с похмелья напевает,
что потеряно кольцо.

И того не знает, дура,
полоскаючи белье,
что в России диктатура
не чужая, а ее.

20 февраля 1966.
Переделкино

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я знал, проживая в столице,
в двухкомнатном теплом раю,
что мне не дано возвратиться
в прекрасную юность мою.

Я знал хорошо напоследки,
под стук беспощадных минут,
что лозунги той пятилетки
обратно ко мне не придут.

Я выучил до отвращенья,
хоть я человек занятой,
что давнее то ощущенье
навеки утрачено мной.

Зачем же, скажите на милость,
от этого маяться мне?
И все ж таки надо случиться
в одной сопредельной стране.

Все сложности выдержав стойко,
познав путешествий размах,
мы ночью очнулись на стройке
в бескрайних монгольских степях.

А утром без всякой натяжки
явилась нам средь пустырей
редакция многотиражки
и цех типографский при ней.

Рабочей газеты изнанка —
ах, как она мне по душе:
шпагатом затянуты гранки,
набиты на доску клише.

Мне эти известны порядки:
строка примыкает к строке,
и вновь тяжелеет верстатка
в моей ослабевшей руке.

Исполненный милого такта,
прекрасен на взгляд и на слух,
в костюмчике сером редактор —
недавний монгольский пастух.

Он сам, очевидно, не знает
за версткой газетки своей,
что в этих степях повторяет
историю русских степей.

Распахнуты двери и ставни,
шумит ветерок удалой,
и лозунги юности давней
трепещут опять надо мной.

1966

АЛТАЙСКАЯ ЗАРИСОВКА

Вдоль полян и пригорков
дальний поезд везет
из Москвы на уборку
комсомольский народ.

Средь студентов столичных,
словно их побратим —
это стало обычным,—
есть китаец один.

В наше дружное время
он не сбоку сидит,
а смеется со всеми
и по-свойски шумит.

И всему эшелону
так близки оттого
кителек немудреный
вместе с кепкой его.

Вот Сибирь золотая,
вот пути поворот,
и уже по Алтаю
дымный поезд идет.

Песни все перепеты,
время с полок слезать.
Вот уж станцию эту
из окошка видать.

Вот уж с общим радушьем,
ради встречи с Москвой,
разражается тушем
весь оркестр духовой.

Вот уже по равнинам
в беспросветной пыли
грузовые машины
москвичей повезли.

По платформе скитаясь,
озирая вокзал,
этот самый китаец
потерялся, отстал.

Огляделся он грустно,
пробежал вдоль путей,
а на станции пусто:
ни машин, ни людей.

Под шатром поднебесным
не видать никого —
ни начальников местных,
ни оркестра того,

ни друзей из столицы,
ни похвал, ни обид,
только мерно пшеница
по округе шумит.

Нет ей веса и счета
и краев не видать.
Как же станут ее-то
без него убирать?

По гражданскому долгу,
как велит комсомол,
он, не думая долго,
на глубинку пошел.

Не какой-нибудь дачник,
не из праздных гуляк,—
в пятерне чемоданчик,
за плечами рюкзак.

Пыль стоит, не спадая,
солнце душное жжет.
Паренек из Китая
на уборку идет.

И гудки грузовые,
мчась навстречу в дыму,
словно трубы России,
салютуют ему.

1958

ПОСТРИЖЕНЬЕ

Я издали начинаю
рассказ безыскусный свой...
Шла первая мировая,
царил Николай Второй.

Империя воевала,
поэтому для тылов
ей собственных не хватало
рабочих и мужиков.

Тогда-то она, желая
поправить свои дела,
беднейших сынов Китая
для помощи привезла.

Велела, чтоб не тужили,
а споро, без суеты
осину и ель валили,
разделывали хлысты,

не охали, не вздыхали,
не лезли митинговать,
а с голоду помогали
империи воевать.

За это она помалу —
раз нанялся — получи! —
деньжонки им выдавала,
подбрасывала харчи.

Но вскорости по России,
от Питера до села,
событья пошли такие,
такие
пошли
дела!

На митингах на победных,
в баталиях боевых
про этих китайцев бедных
забыли все — не до них.

Сидят сыновья Китая,
обтрепаны и худы,
а им не везут ни чая,
ни керенок, ни еды.

Судили они, рядили,
держали они совет,
барак свой лесной закрыли
и вышли на белый свет.

Податься куда не зная,
российскою стороной
идут сыновья Китая
с косицами за спиной.

Шагают, сутуля плечи,
по-бедному, налегке
и что-то свое щебечут
на собственном языке.

В прожженных идут фуфайках,
без шарфов и рукавиц —
как будто чужая стайка
отбившихся малых птиц.

Навстречу им рысью быстрой
с востока, издалека,
спешили кавалеристы
Октябрьского полка.

Рысили они навстречу,
вселяя любовь и страх,
и пламя недавней сечи
светилось на их клинках.

Глядели они сердито
всем контрикам на беду.
А кони бойцов убитых
у каждого в поводу.

Так встретились вы впервые,
как будто бы невзначай,
ты,
   ленинская Россия,
и ты,
      трудовой Китай.

И начали без утайки,
не около, а в упор,
по-русски и по-китайски
внушительный разговор.

Беседа идет по кругу,
как чарка идет по ртам:
недолго узнать друг друга
солдатам и батракам.

Не слишком-то было сложно
в то время растолковать,
что в Армии Красной можно
всем нациям воевать.

Но все-таки говорится,
намеки ведут к тому,
что вроде бы вот косицы
для конников ни к чему.

Решают единогласно
китайцы по простоте,
что ладно, они согласны
отрезать косицы те.

Тут конник голубоглазый
вразвалку к седлу идет
и ножницы из припаса
огромные достает.

Такая была в них сила,
таилась такая прыть,
что можно бы ими было
всю землю перекроить.

Под говор разноголосый
он действует наяву,
и падают
мягко
косы
на стоптанную траву.

Так с общего соглашенья
лет сорок тому назад
свершилось то постриженье,
торжественный тот обряд.

И, радуясь, словно дети,
прекрасной судьбе своей,
смеются китайцы эти
и гладят уже коней.

1959

МОНОЛОГ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Я русский по виду и сути.
За это меня не виня,
таким вот меня и рисуйте,
ваяйте и пойте меня.

Нелегкие общие думы
означили складку у рта.
Мне свойственны пафос и юмор,
известна моя доброта.

Но в облике том большелобом,
в тебе, пролетарская кость,
есть также не то чтобы злоба,
а грубая, честная злость.

Я русский по духу и плоти.
Развеяв схоластику в прах,
и в мысли моей, и в работе
живет всесоюзный размах.

Под знаменем нашим державным
я — с тех достопамятных пор —
нисколько не главный, а равный
средь братьев своих и сестер.

Литовцы, армяне, казахи —
мы все в государстве своем
не то чтоб в зазнайстве и страхе,
а в равенстве общем живем.

Я с этим испытанным братством,
с тобой, дорогая страна,
всем русским духовным богатством
успел поделиться сполна.

И сам я, не менее знача,
не сдавши позиций своих,
стал много сильней и богаче
от песен и музыки их.

1962

КОМАНДАРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Мне Красной Армии главкомы,
молодцеваты и бледны,
хоть понаслышке, но знакомы
и не совсем со стороны.

Я их не знал и не узнаю
так, как положено, сполна.
Но, словно песню, вспоминаю
тех наступлений имена.

В петлицах шпалы боевые
за легендарные дела.
По этим шпалам вся Россия,
как поезд, медленно прошла.

Уже давно суконных шлемов
в музеях тлеют шишаки.
Как позабытые поэмы,
молчат почетные клинки.

Как будто отблески на меди,
когда над книгами сижу,
в тиши больших энциклопедий
я ваши лица нахожу.

1966

НА ПОВЕРКЕ

Бывают дни без фейерверка,
когда огромная страна
осенним утром на поверке
все называет имена.

Ей нужно собственные силы
ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
разъялась тьма, отверзлась гладь.

Притихла ложь, умолкла злоба,
прилежно вытянулась спесь.
И Лермонтов встает из гроба
и отвечает громко: «Здесь!»

О, этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чьи строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли!

Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча
по небу русскому прошел.

1964

ДВА ПЕВЦА

Были давно
два певца у нас:
голос свирели
и трубный бас.

Хитро зрачок
голубой блестит —
всех одурманит
и всех прельстит.

Громко открыт
беспощадный рот —
всех отвоюет
и все сметет.

Весело в зале
гудят слова.
Свесилась
бедная голова.

Легкий шажок
и широкий шаг.
И над обоими
красный флаг.

Над Ленинградом
метет метель.
В номере темном
молчит свирель.

В окнах московских
блестит апрель.
Пуля нагана
попала в цель.

Тускло и страшно
блестит глазет.
Кровью намокли
листы газет.

...Беленький томик
лениво взять —
между страниц
золотая прядь.

Между прелестных
нежнейших строк
грустно лежит
голубой цветок.

Благоговея, открыть
тома —
между обложками
свет и тьма,

вихрь революции,
гул труда,
волны,
созвездия,
города.

...Все мы окончимся,
все уйдем
зимним
или весенним днем.

Но не хочу я
ни женских слез,
ни на виньетке
одних берез.

Бог моей жизни,
вручи мне медь,
дай мне веселие
прогреметь.

Дай мне отвагу,
трубу,
поход,
песней победной
наполни рот.

Посох пророческий
мне вручи,
слову и действию
научи.

1946

АННА АХМАТОВА

Не позабылося покуда
и, надо думать, навсегда,
как мы встречали Вас оттуда
и провожали Вас туда.

Ведь с Вами связаны жестоко
людей ушедших имена:
от императора до Блока,
от Пушкина до Кузмина.

Мы ровно в полдень были в сборе
совсем не в клубе городском,
а в том Большом морском соборе,
задуманном еще Петром.

И все стояли виновато
и непривычно вдоль икон —
без полномочий делегаты
от старых питерских сторон.

По завещанью, как по визе,
гудя на весь лампадный зал,
сам протодьякон в светлой ризе
Вам отпущенье возглашал.

Он отпускал Вам перед богом
все прегрешенья и грехи,
хоть было их не так уж много:
одни поэмы да стихи.

1966

ВСЕ НЫНЧЕ ПИШУТ О СВЕТЛОВЕ

Все нынче пишут о Светлове,
и я, хоть классиком не стал,
но что-то вроде предисловья
к его собранью написал.

Все с ним в пивных глушили кружки,
все целовались с ним спьяна,
нашлись и грешные подружки,
и непорочная жена.

Над незажившею могилой
двенадцать месяцев подряд
они болтают, в общем, мило
и со старанием острят.

Так что же, может, я ревную
или завидую ему,
ушедшему в страну иную,
в ту, как в соборе, золотую,
полусветящуюся тьму?

Нет. Ведь у нас одна дорога,
за ним иду в разведку я —
от свечки отчего порога
до черных люстр небытия.

Я просто издали примерил
костюм вечерний гробовой.
Все будет так же, в той же мере
немного позже и со мной.

1967

КСЕНЯ НЕКРАСОВА

Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье? —
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.

Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?

Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.

На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.

Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.

Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.

И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто — на собранье, кто — к детям, кто — попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.

1964

БОРИС КОРНИЛОВ

Из тьмы забвенья воскрешенный,
ты снова встретился со мной,
пудовой гирею крещенный,
ширококостый и хмельной.

Не изощренный томный барин —
деревни и заставы сын,
лицом и глазками татарин,
а по ухватке славянин.

Веселый друг и сильный малый,
а не жантильный вертопрах,
приземистый, коротконалый,
в каких-то шрамах и буграх.

То — буйный, то — смиренно-кроткий,
то — предающийся греху,
в расстегнутой косоворотке,
в боярской шубе на меху.

Ты чужд был залам и салонам,
так, как чужды наверняка
диванам мягкого вагона
кушак и шапка ямщика.

И песни были!.. Что за песни!
Ты их записывал пером,
вольготно сидя, как наездник,
а не как писарь за столом.

А вечером, простившись с музой,
шагал, куда печаль влекла,
и целый час трещали лузы
у биллиардного стола.

Случалось мне с тобою рядом
бродить до ранней синевы
вдоль по проспектам Ленинграда,
по переулочкам Москвы.

И я считал большою честью,
да и теперь считать готов,
что брат старшой со мною вместе
гулял до утренних гудков.

Все это внешние приметы,
быть может, резкие — прости.
Я б в душу самую поэта
хотел читателя ввести.

Но это вряд ли мне по силам,
да и нужды особой нет,
раз ты опять запел, Корнилов,
наш сотоварищ и поэт.

1960

НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ

В складе памяти светится тихо и кротко,
как простая иконка в лампадных огнях,
Николай Полетаев в косоворотке,
пиджаке и не новых смазных сапогах.

Лучше всякой заученной злобно науки
мне запомнились, хоть я совсем не простак,
эти слабые, длинные, мягкие руки,
позабывшие гвоздь, молоток и верстак.

В коридоре пустынном метельною ночью,
улыбнувшись беспомощно и горячо,
этот старый, замученный жизнью рабочий
положил свою руку ко мне на плечо.

Пролетает мой день в тишине или в звоне,
мне писать нелегко и дышать тяжело.
На кого возложить мне пустые ладони,
позабывшие гвоздь, молоток и кайло?

1968

ЮРИЙ ОЛЕША

Не на извозчике, а пеший,
жуя потайно бутерброд,
в пальтишке стареньком Олеша
весной по улице идет.

Башка апрельская в тумане,
ледок в проулочке блестит.
Как чек волшебника, в кармане
рублевка старая лежит.

Ее возможно со стараньем
истратить на закате лет
на чашку кофе в ресторане,
на золотой вечерний свет.

Он не богат, но и не жалок,
и может, если все забыть,
букетик маленьких фиалок
одной красавице купить.

Но так тревожно и приятно
не обольщать и не жалеть,
а в переулочке бесплатно
снежком и наледью хрустеть.

Пускай в апрельском свежем мраке,
не отставая там и тут,
как бы безмолвные собаки,
за ним метафоры бегут.

1968

ЧЕТЫРЕМ ДРУЗЬЯМ

Расулу Гамзатову,
Мустаю Кариму,
Кайсыну Кулиеву,
Давиду Кугультинову

Вы из аймаков и аулов
пришли в литературный край
все вчетвером — Кайсын с Расулом,
Давид и сдержанный Мустай.

Во всем своем великолепье
вас всех в поэзию ввели
ущелья ваши,
                    ваши степи,
смешенье камня и земли.

Они вручали вам с охотой,
поверив в вашу правоту,
и вашей лирики высоты,
и ваших мыслей широту.

Сквозь писк идиллий и элегий
я слышу ваши голоса.
Для поэтической телеги
нужны четыре колеса.

И, как талантливое слово,
на всю звучащее страну,
четыре звонкие подковы
необходимы скакуну.

Припомнить можно поговорку,
чтоб стих звучал повеселей:
всегда козырная четверка
бьет и тузов, и королей.

1969

ВАСИЛИЙ КАЗИН

Василь Васильич Казин
семидесяти лет
умен, благообразен
и тщательно одет.

Он сам
 своих же строчек
лирический герой:
отец — водопроводчик,
а дядюшка — портной.

Он вовсе не зазнался,
поэт наш дорогой,
что с Лениным снимался
на карточке одной.

Тем утром пролетарским
его средь запевал
заметил Луначарский,
Есенин целовал.

Ему не нужен посох,
он излучает свет,
лирический философ
своих и наших лет.

Он был все годы с теми,
кто не вилял, а вел,
его мололо время,
и он его молол.

И вышел толк немалый
из общих тех работ:
и время не пропало,
и он не пропадет.

1968

НАЗЫМ

Не год, а десять с лишним лет,
то солнечных, то хмурых,
в России жил Назым Хикмет,
голубоглазый турок.

Он жил в квартире городской
Московского Совета,
как в социальной мастерской
строительства планеты.

Ни табака и ни вина,
ни трубки, ни бокала,
и только рукопись одна
без ветра трепетала.

Мы с ним не только хлеб да соль
да прелести идиллий,
а нашу честь и нашу боль
по равенству делили.

Он обожал сильней всего,
свои уймя печали,
когда по имени его —
Назымом называли.

Чтоб этот мир единым стал,
как видится и снится,
он с упоением шагал
через его границы.

Гудит и дышит микрофон
на площади и в зале.
На всех конгрессах будет он,
на каждом фестивале.

Он так себя держал и вел
уверенно и юно,
как будто в прошлое пришел
из будущей коммуны.

И вот сейчас его рука,
как в собственном дастане,
для всех земель из пиджака
грядущее достанет.

И по стиху, и по уму,
по всей своей природе,
по назначенью своему
он был международен.

А поздней ночью все равно
в погашенном отеле
его глаза через окно
на Турцию глядели.

На тот тишайший небосклон,
на то земное лоно,
где был за все за это он
объявлен вне закона.

1969

АКОП САЛАХЯН

Я так люблю тебя, Акоп,
в такой счастливой мере,
что в бледный лоб и красный гроб
решительно не верю.

Попав до срока в клубный зал
речей и поминаний,
ты на цветах своих лежал,
как путник на поляне.

И я в собравшейся толпе
припомнил наудачу,
как мы с Баруздиным к тебе
заехали на дачу;

как мебель комнаты твоей,
от стула до дивана,
трещала вся от повестей,
ломилась от романов.

А из дождливой суеты,
из пасмурной печали,
склонившись, мокрые цветы
сквозь стекла проступали.

Вот в стопки льет твоя рука,
под смутную погоду,
златую струйку коньяка
армянского завода.

Но этот дружный разворот,
внезапный и невинный,
вдруг обрывает у ворот
служебная машина.

Твои поступки и дела,
проступки и деянья
и украшала, и влекла
улыбка обаянья.

Я объяснить не смею сам,
и пробовать напрасно,
весь твой азарт по пустякам,
воинственно прекрасный.

Я сам невесел оттого,
что нету веры в чудо
и в наше время волшебство
осмеяно повсюду.

Но, может быть, ведь может быть,
сумеют строки эти
тебя хоть на день воскресить
в сегодняшней газете.

1970

НИКОЛАЙ СОЛДАТЕНКОВ

Наглотавшись вдоволь пыли
в том году сорок втором,
мы с тобою жили-были
в батальоне трудовом.

Ночевали мы на пару
недалеко под Москвой
на дощатых голых нарах,
на перине пуховой.

Как случайные подружки
в неприветливом дому,
ненавидели друг дружку
по укладу, по уму.

Но когда ты сам, с охотой,
еле сдерживая пыл,
чтоб работалась работа,
электродиком варил,

ах, когда ты, друг любезный
(за охулку не взыщи),
кипятил тот лом железный,
как хозяечка борщи,

как хозяюшка России,
на глаза набрав платок,
чтобы очи ей не выел
тот блестящий кипяток,—

я глядел с любовной верой,
а совсем не напоказ,
как Успенский пред Венерой,—
прочитай его рассказ.

Надо думать, очевидно,
выпивоха и нахал,
ты меня тайком, солидно
за работу уважал,—

если, тощий безобразник
(ты полнее вряд ли стал),
мне вчера, как раз под праздник,
поздравление прислал.

1966

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

Все совершается, как надо,
хоть и не сразу, не сполна,
но горсть земли из-под Гренады
была в Москву привезена.

Ее везли не без опаски
через границы вдалеке,
как будто в старой русской сказке,
в полукрестьянском узелке.

Ей красоты недоставало,
оттенков сизо-золотых,—
она из пыли состояла
и мелких камешков нагих.

Но, несмотря на это, все же
она на свой особый лад
была для нас куда дороже
и украшений, и наград.

И мы ее, чтоб легче было
тебе лежать от всех вдали,
на тихий холм твоей могилы,
как надлежало, принесли.

Ведь есть естественность прямая
в том, что сегодня над тобой
земля Испании сухая
смешалась с русскою землей.

1967

АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ

Мне во что бы то ни стало
надо б встретиться с тобой,
русской жизни запевала
и ее мастеровой.

С обоюдным постоянством
мы б послали с кондачка
все романсы-преферансы
для частушки и очка.

Володимирской породы
достославный образец,
добрый мóлодец народа,
госэстрады молодец.

Ты никак не ради денег,
не затем, чтоб лишний грош,
по Москве, как коробейник,
песни сельские несешь.

Песня тянет и туманит,
потому что между строк
там и ленточка, и пряник,
тут и глиняный свисток.

Песню петь-то надо с толком,
потому что между строк
и немецкие осколки,
и блиндажный огонек.

Там и выдумка и были,
жизнь как есть — ни дать ни взять.
Песни те, что не купили,
будем даром раздавать.

Краснощекий, белолицый,
приходи ко мне домой,
шумный враг ночных милиций,
брат милиции дневной.

Приходи ко мне сегодня
чуть, с устаточку, хмелен:
посмеемся — я ж охотник,
и поплачем — ты ж силен.

Ну-ка вместе вспомним, братцы,
отрешась от важных дел,
как любил он похваляться,
как он каяться умел.

О тебе, о неушедшем,—
не смогу себе простить! —
я во времени прошедшем
вздумал вдруг заговорить.

Видно, черт меня попутал,
ввел в дурацкую игру.
Это вроде б не к добру-то,
впрочем, нынче все к добру.

Ты меня, дружок хороший,
за обмолвку извини.
И сегодня же, Алеша,
или завтра позвони...

1962

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

Сам я знаю, что горечь
есть в улыбке моей.
Здравствуй, Павел Григорьич,
древнерусский еврей.

Вот и встретились снова
утром зимнего дня,—
в нашей клубной столовой
ты окликнул меня.

Вас за столиком двое:
весела и бледна,
сидя рядом с тобою
быстро курит жена.

Эти бабы России
возле нас, там и тут,
службу, как часовые,
не сменяясь, несут.

Не от шалого счастья,
не от глупых услад,
а от бед и напастей
нас они хоронят.

Много верст я промерил,
много выложил сил,
а в твоих подмастерьях
никогда не ходил.

Но в жестоком движенье,
не сдаваясь судьбе,
я хранил уваженье
и пристрастье к тебе.

Средь болот ненадежных
и незыблемых скал
неприютно и нежно
я тебя вспоминал.

Средь приветствий и тушей
и тебе, может быть,
было детскую душу
нелегко сохранить.

Но она не пропала,
не осталась одна,
а как дернем по малой —
сквозь сорочку видна.

Вся она повторила
наше время и век,
золотой и постылый.
Здравствуй, дядька наш милый,
дорогой человек.

1967

ДЕНИС ДАВЫДОВ

Утром вставя ногу в стремя,—
ах, какая благодать! —
ты в теперешнее время
умудрился доскакать.

(Есть сейчас гусары кроме:
наблюдая идеал,
вечером стоят на стреме,
как ты в стремени стоял.

Не угасло в наше время,
не задули, извини,
отвратительное племя:
«Жомини да Жомини».)

На мальчишеской пирушке
в Царском — чтоб ему! — селе
были вы — и ты и Пушкин —
оба-два навеселе.

И тогда тот мальчик черный,
прокурат и либерал,
по-нахальному покорно
вас учителем назвал.

Обождите, погодите,
не шумите — боже мой! —
раз вы Пушкина учитель,
значит, вы учитель мой.

1966

РАВЕЛЬ

Я понял мысли верным ходом
средь достижений и обид —
своим избранникам природа
за превосходство нагло мстит.

Француза, слепленного тонко
из вкуса, сердца и ума,
поставит вдруг на четвереньки
и улыбается сама.

И гениального мальчишку
средь белоблещущих высот
за то, что он зарвался слишком,
рукой Мартынова убьет.

...И я за те свои удачи,
что были мне не по плечу,
сомкнувши зубы, не запла́чу,
а снова молча заплачу́.

1958, 1967

ПОЗИТИВНАЯ ПРОГРАММА

Ах, как найти мне это свойство,
каких таблеток проглотить,
чтоб побыстрее беспокойство
на безразличие сменить?

Хочу глядеть на жизнь чужую,
еще не легкую пока,
не сострадая, не ревнуя,
а сквозь окно, издалека.

Тогда-то, как всегда бывает,
совет ученых докторов
неукоснительно признает,
что я нормален и здоров.

И стану я в порядке частном,
чтоб не попасть обратно,
впредь
на всех заблудших, всех несчастных
с улыбкой сытою глядеть.

1967. Кунцевская больница

ПОСЛАНИЕ ПАВЛОВСКОМУ

В какой обители московской,
в довольстве сытом иль нужде
сейчас живешь ты, мой Павловский,
мой крестный из НКВД?

Ты вспомнишь ли мой вздох короткий,
мой юный жар и юный пыл,
когда меня крестом решетки
ты на Лубянке окрестил?

И помнишь ли, как птицы пели,
как день апрельский ликовал,
когда меня в своей купели
ты хладнокровно искупал?

Не вспоминается ли дома,
смежая сонные глаза,
как комсомольцу молодому
влепил бубнового туза?

Не от безделья, не от скуки
хочу поведать не спеша,
что у меня остались руки
и та же детская душа.

И что, пройдя сквозь эти сроки,
еще не слабнет голос мой,
не меркнет ум, уже жестокий,
не уничтоженный тобой.

Как хорошо бы на покое,—
твою некстати вспомнить мать,—
за чашкой чая нам с тобою
о прожитом потолковать.

Я унижаться не умею
и глаз от глаз не отведу,
зайди по-дружески, скорее.
Зайди.
        А то я сам приду.

1967

ВЕЧЕРНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

По́следний час стучит все ближе,
виднее заповедный срок,
и я в дверях беру не лыжи,
а неказистый посошок.

Не посох выспренний пророка,
который риторичен все ж,
а тот, с каким неподалеку,
но тихо как-нибудь дойдешь.

И я иду неторопливо,
снежок январский шевеля,
сквозь полускрывшиеся нивы
к тебе, последняя земля.

Иду дорогой заметенной,
боясь неправильно свернуть,
и посошок мой немудреный
прямой указывает путь.

1968

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Земля российская богата
в своей траве, в своих цветах.
Все колокольчики когда-то,
как будто сельские набаты,
гремели вечером в степях.

Потом их подрезали косы,
чтоб большей не было беды.
Они ложились безголосо
в тяжеловлажные ряды.

Их после вилы поднимали,
неся над самой головой.
Цветы несмело обретали
как бы ушедший голос свой.

Но, получив жестокий опыт
своей возлюбленной земли,
они уже на общий шепот
в стогах и копнах перешли.

Потом на дровнях удалялись,
роняя по дороге прах,
и губы конские купались
в траве увялой и цветах.

Так начиналась жизнь вторая,
идя все той же стороной:
ведь колокольчики Валдая,
то раскатясь, то затихая,
звенят и плачут под дугой.

1968

ЭЛЕГИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Вам не случалось ли влюбляться —
мне просто грустно, если нет,—
когда вам было чуть не двадцать,
а ей почти что сорок лет?

А если уж такое было,
ты ни за что не позабыл,
как торопясь она любила
и ты без памяти любил.

Когда же мы переставали
искать у них ответный взгляд,
они нас молча отпускали
без возвращения назад.

И вот вчера, угрюмо, сухо
войдя в какой-то малый зал,
я безнадежную старуху
средь юных женщин увидал.

И вдруг, хоть это в давнем стиле,
средь суеты и красоты
меня, как громом, оглушили
полузабытые черты.

И, к вам идя сквозь шум базарный,
как на угасшую зарю,
я наклоняюсь благодарно
и ничего не говорю,

лишь с наслаждением и мукой,
забыв печали и дела,
целую старческую руку,
что белой ручкою была.

1966

* * *

Мальчики, пришедшие в апреле
в шумный мир журналов и газет,
здорово мы все же постарели
за каких-то три десятка лет.

Где оно, прекрасное волненье,
острое, как потаенный нож,
в день, когда свое стихотворенье
ты теперь в редакцию несешь?

Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,
важно въехав в загородный дом,
стали вроде бы учителями
и советы мальчикам даем.

От меня дорожкою зеленой,
источая ненависть и свет,
каждый день уходит вознесенный
или уничтоженный поэт.

Он ушел, а мне не стало лучше.
На столе — раскрытая тетрадь.
Кто придет и кто меня научит,
как мне жить и как стихи писать?

1964

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

В гудки индýстрии поверя,
спав от волнения с лица,
мы вышли все из сельской двери,
сошли с крестьянского крыльца.

И нас от старого крылечка
и вдоль села, и за село,
кружась и прыгая, колечко
в далекий город увело.

Нет, это вовсе не отсталость,
что с той поры до этих дней
вся та земля, что там осталась,
осталась в памяти моей.

Ты весь засветишься на рынке
средь повседневной тесноты,
в крестьянской ивовой корзинке
увидев сельские цветы.

Оттуда, от полян и речек,
с какой-то детскою тоской
они пришли к тебе навстречу,
бывалый житель городской.

Вези их в утреннем трамвае,
не суетясь и не спеша,
неловко к сердцу прижимая,
увялой свежестью дыша.

Тебе цветы расскажут эти,
их полевая простота,
что где-то там на белом свете,
как рожь на утреннем рассвете,
шумят родимые места;

что светит небо дорогое
и так, да и не так, как тут,
и за собою, за собою
тебя обратно позовут.

Любовь к земле на расстоянье
нехлопотлива, хоть трудна.
Но это все не покаянье,
а только лирика одна.

Одна страна, одна Россия
взяла под собственную сень
и наши судьбы городские,
и судьбы наших деревень.

1969

КАМЕРНАЯ ПОЛЕМИКА

Одна младая поэтесса,
живя в достатке и красе,
недавно одарила прессу
полустишком-полуэссе.

Она, отчасти по привычке
и так, как критика велит,
через окно из электрички
глядела на наружный быт.

И углядела у обочин
(мелькают стекла и рябят),
что женщины путей рабочих
вдоль рельсов утром хлеб едят.

И перед ними — случай редкий,
всем представленьям вопреки,—
не ресторанные салфетки,
а из холстины узелки.

Они одеты небогато,
но все ж смеются и смешат.
И в глине острые лопаты
средь ихних завтраков торчат.

И поэтесса та недаром
чутьем каким-то городским
среди случайных гонораров
вдруг позавидовала им.

Ей отчего-то захотелось
из жизни чуть не взаперти,
вдруг проявив большую смелость,
на ближней станции сойти

и кушать мирно и безвестно —
почетна маленькая роль! —
не шашлыки, а хлеб тот честный
и крупно молотую соль.

...А я бочком и виновато
и спотыкаясь на ходу
сквозь эти женские лопаты
как сквозь шпицрутены иду.

1966

ПОСТОЯНСТВО

Средь новых звезд на небосводе
и празднублещущих утех
я, без сомненья, старомоден
и постоянен, как на грех.

Да мне и не к чему меняться,
не обязательно с утра
по телефону ухмыляться
над тем, что сделано вчера.

Кому — на смех, кому — на зависть,
я утверждать не побоюсь,
что в самом главном повторяюсь
и — бог поможет — повторюсь.

И даже муза дальних странствий,
дав мне простора своего,
не расшатала постоянства,
а лишь упрочила его.

1966

ИВАН КАЛИТА

Сутулый, худой, бритолицый,
уже не боясь ни черта,
по улицам зимней столицы
иду, как Иван Калита.

Слежу, озираюсь, внимаю,
опять начинаю, сперва,
и впрок у людей собираю
на паперти жизни слова.

Мне эта работа по средствам,
по сущности самой моей;
ведь кто-то же должен наследство
для наших копить сыновей.

Нелегкая это забота,
но я к ней, однако, привык:
их много, теперешних мотов,
транжирящих русский язык.

Далеко до смертного часа,
а легкая жизнь не нужна,
пускай богатеют запасы,
и пусть тяжелеет мошна.

Словечки взаймы отдавая,
я жду их обратно скорей,
недаром моя кладовая
всех нынешних банков полней.

1966

ПОЭТ

Дымятся и потеют лица,
гетеры старые снуют,
и гладиатор и патриций
из толстых кружек пиво пьют.

Еще пока никто не знает,
ни исполком, ни постовой,
что эта жалкая пивная
уже описана тобой.

Что эта вывеска, и стены,
и ночью сторож вдоль пути
сойдут с провинциальной сцены,
чтобы в Историю войти.

1966

* * *

В журналах своих и в газетах,
среди стихотворных красот,
не слишком ли часто поэты
тебя поминают, народ?

В стихах, обращенных к потомкам,
в поэмах, идущих чредой,
мы, может быть, слишком уж громко
клянемся тебе и тобой.

Наверно, признанья все те же
прискучило людям читать,
и надо б и тише и реже
об этой любви заявлять?

...Когда-то — чего не бывало? —
в Сибири средь падей и гор
с квантунским одним генералом
пришлось мне вести разговор.

Свое любопытство смиряя,
запомнил я больше всего
потушенный взгляд самурая,
огромные уши его.

Подавленный новою ролью
(однако же к ней он привык),
как лагерной траченный молью
бобровый его воротник.

Не ждя от начальников красных
за это и малых щедрот,
незлобно и даже бесстрастно
он собственный хаял народ.

И так выходило, что вроде
он сам-то доволен собой,
но лучше б его благородью
в стране подвизаться иной.

Ему, как начальнику штаба,
в другой бы империи жить,
и он бы сумел бы тогда бы
не так о себе заявить.

Он должен сказать откровенно,
что, если б не жалкий народ,
тут пахло бы вовсе не пленом,
другой бы пошел оборот.

И он бы в недальнее зданье,
куда лейтенант вызывал,
не бегал давать показанья,
а сам бы себя показал.

...В поэты бы мы не годились
и песни писать не могли,
когда бы тобой не гордились,
народ нашей общей земли.

Мы, может, писали и плохо,
но то, что душа нам велит.
Не знаю, простит ли эпоха,
а русский читатель простит.

Мы счастливы, русские люди,
тем счастьем заглавным, большим,
что вечно гордимся и будем
гордиться народом своим.

1967 (?)

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ПОЧТЕ

Здесь две красотки, полным ходом
делясь наличием идей,
стоят за новым переводом
от верных северных мужей.

По телефону-автомату,
как школьник, знающий урок,
кричит заметно глуховатый,
но голосистый старичок.

И совершенно отреченно
студент с нахмуренным челом
сидит, как Вертер обольщенный,
за длинным письменным столом.

Кругом его галдит и пышет
столпотворение само,
а он, один, страдая, пишет
свое заветное письмо.

Навряд ли лучшему служило,
хотя оно уже старо,
входя в казенные чернила,
перержавелое перо.

То перечеркивает что-то,
то озаряется на миг,
как над контрольною работой
отнюдь не первый ученик.

С той тщательностью, с тем терпеньем
корпит над смыслом слов своих,
как я над тем стихотвореньем,
что мне дороже всех других.

1966

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ФОТОАТЕЛЬЕ

Живя свой век грешно и свято,
недавно жители земли,
придумав фотоаппараты,
залог бессмертья обрели.

Что — зеркало?
Одно мгновенье,
одна минута истекла,
и веет холодом забвенья
от опустевшего стекла.

А фотография сырая,
продукт умелого труда,
наш облик точно повторяет
и закрепляет навсегда.

На самого себя не трушу
глядеть тайком со стороны.
Отретушированы души
и в список вечный внесены.

И после смерти, как бы дома,
существовать доступно мне
в раю семейного альбома
или в читальне на стене.

1966

ПЕЙЗАЖ

Сегодня в утреннюю пору,
когда обычно даль темна,
я отодвинул набок штору
и молча замер у окна.

Небес сияющая сила
без суеты и без труда
сосняк и ельник просквозила,
да так, как будто навсегда.

Мне — как награда без привычки —
вся освещенная земля
и дробный стрекот электрички,
как шов, сшивающий поля.

Я плотью чувствую и слышу,
что с этим зимним утром слит,
и жизнь моя, как снег на крыше,
в спокойном золоте блестит.

Еще покроют небо тучи,
еще во двор заглянет зло.
Но все-таки насколько лучше,
когда за окнами светло!

1967

* * *

Не семеня и не вразвалку —
он к воздержанию привык —
идет, стуча сердито палкой,
навстречу времени старик.

Есть у него семья и дружба,
а он, старик спокойный тот,
не в услуженье, а на службу
неукоснительно идет.

Не тратя время бесполезно,
от мелких скопищ далеки,
они по-внешнему любезны,
но непреклонны — старики.

Их пиджаки сидят свободно,
им ни к чему в пижоны лезть.
Они немного старомодны,
но даже в этом прелесть есть.

Спервоначалу и доныне,
как солнце зимнее в окне,
должны быть все-таки святыни
в любой значительной стране.

Приостановится движенье
и просто худо будет нам,
когда исчезнет уваженье
к таким, как эти, старикам.

1966

СОСЕД

Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед.

Захожу я без оглядки
в твой дощатый малый дом.
Я люблю четыре грядки
и рябину под окном.

Это все весьма умело,
не спеша поставил ты
для житейской пользы дела
и еще для красоты.

Пусть тебя за то ругают,
перестроиться веля,
что твоя не пропадает,
а шевелится земля.

Мы-то знаем, между нами,
что вернулся ты домой
не с чинами-орденами,
а с медалью боевой.

И она весьма охотно,
сохраняя бравый вид,
вместе с грамотой почетной
в дальнем ящике лежит.

Персонаж для щелкоперов,
Мосэстрады анекдот,
жизни главная опора,
человечества оплот.

Я, об этом забывая,
не стесняюсь повторить,
что и сам я обываю
и еще настроен быть.

Не ваятель, не стяжатель,
не какой-то сукин сын —
мой приятель, обыватель,
неприметный гражданин.

1966

В ЗАЩИТУ ДОМИНО

В газете каждой их ругают
весьма умело и умно,
тех человеков, что играют,
придя с работы, в домино.

А я люблю с хорошей злостью
в июньском садике, в углу,
стучать той самой черной костью
по деревянному столу.

А мне к лицу и вроде впору
в кругу умнейших простаков
игра матросов, и шахтеров,
и пенсионных стариков.

Я к ним, рассержен и обижен,
иду от прозы и стиха
и в этом, право же, не вижу
самомалейшего греха.

Конечно, все культурней стали,
но населяют каждый дом
не только Котовы и Тали,
не все Ботвинники притом.

За агитацию — спасибо!
Но ведь, мозгами шевеля,
не так-то просто сделать «рыбу»
или отрезать два «дупля».

1966

* * *

Иные люди с умным чванством,
от высоты навеселе,
считают чуть ли не мещанством
мою привязанность к земле.

Но погоди, научный автор,
ученый юноша, постой!
Я уважаю космонавтов
ничуть не меньше, чем другой.

Я им обоим благодарен,
пред ними кепку снять готов.
Пусть вечно славится Гагарин
и вечно славится Титов!

Пусть в неизвестности державной,
умнее бога самого,
свой труд ведет конструктор Главный
и все помощники его.

Я б сам по заданной программе,
хотя мой шанс ничтожно мал,
в ту беспредельность, что над нами,
с восторгом юности слетал.

Но у меня желанья нету,
нет нетерпенья, так сказать,
всю эту старую планету
на астероиды менять.

От этих сосен и акаций,
из этой вьюги и жары
я не хочу переселяться
в иные, чуждые миры.

Не оттого, что в наших кружках
нет слез тщеты и нищеты
и сами прыгают галушки
во все разинутые рты.

Не потому, чтоб здесь спокойно
жизнь человечества текла:
потерян счет боям и войнам
и нет трагедиям числа.

Терпенье нужно, и геройство,
и даже гибель, может быть,
чтоб всей земли переустройство,
как подобает, завершить.

И все же мне родней и ближе
загадок Марса и Луны
судьба Рязани и Парижа
и той испанской стороны.

1962

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

Живя в двадцатом веке,
в отечестве своем,
хочу о человеке
поговорить простом.

Раскрыв листы газеты,
раздумываю зло:
определенье это
откудова пришло?

Оно явилось вроде
из тех ушедших лет:
смердит простонародье,
блистает высший свет.

В словечке также можно
смысл увидать иной:
вот этот, дескать, сложный,
а этот вот — простой.

На нашем белом свете,
в республиках страны,
определенья эти
нелепы и смешны.

Сквозь будни грозовые
идущий во весь рост,
сын ленинской России
совсем не так уж прост.

Его талант и гений,
пожалуй, посильней
иных стихотворений
и множества статей.

За все, что миру нужно,
товарищ верный тот
отнюдь не простодушно
ответственность несет.

1962

ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Чудится мне качанье
лодочки и волны
в самом твоем звучанье,
Набережные Челны.

Слушать тайком такую
музыку не могу:
словно бы там танцует
кто-то на берегу.

Связывают рассказы
прошлое городка
с баржею и лабазом,
с песнею бурлака.

Позже весьма полезно
действовал городок,
хлеб для страны железной
заготовляя впрок.

Слышен он был покамест
с музыкою своей
лишь по одной по Каме,
даже и не по всей.

Громче, хотя бы малость,
он и не мыслил стать.
Но и ему досталась
грозная благодать.

Чтоб не отстать от сроку,
постановил народ
ставить неподалеку
Камский автозавод.

Ливнем переполоха,
молниями страстей
в город вошла эпоха
грузов и скоростей.

Для молодцов монтажных,
для пробивных девчат
город одноэтажный
тесен и слабоват.

Утром уже бригады
выправки строевой
начали строить рядом
город отдельный свой.

Вот уже потянулись
там, где таилась тьма,
вдоль освещенных улиц
каменные дома.

Вот уже в смутной Каме
зыбко отражено
кранами и руками
сложенное кино.

Нынче поют у башен
с баками пареньки
песни не те, что ваши,
камские бурлаки.

И в полевом затишье,
в царстве сосны и ржи,
все этажи и крыши,
крыши да этажи.

Жителей беспокоя,
думаю наперед:
имя возьмет какое
город высотный тот?

Хочется, чтоб на Каме,
словно вечерний свет,
вы сохранили память
прожитых нами лет.

Это ведь крайне важно,
чтоб в глубине страны
жили многоэтажно
Набережные Челны.

1972

МАШЕНЬКА

Происходило это, как ни странно,
не там, где бьет по берегу прибой,
не в Дании старинной и туманной,
а в заводском поселке под Москвой.

Там жило, вероятно, тысяч десять,
я не считал, но полагаю так.
На карте мира, если карту взвесить,
поселок этот — ерунда, пустяк.

Но там была на месте влажной рощи,
на нет сведенной тщанием людей,
как и в столицах, собственная площадь
и белый клуб, поставленный на ней.

И в этом клубе, так уж было надо —
нам отставать от жизни не с руки,—
кино крутилось, делались доклады
и занимались всякие кружки.

Они трудились, в общем, не бесславно,
тянули все, кто как умел и мог.
Но был средь них как главный между равных,
бесспорно, драматический кружок.

Застенчива и хороша собою,
как стеклышко весеннее светла,
его премьершей и его душою
у нас в то время Машенька была.

На шаткой сцене зрительного зала,
на фоне намалеванных небес
она, светясь от радости, играла
чекисток, комсомолок и принцесс.

Лукавый взгляд, и зыбкая походка,
и голосок, волнительный насквозь...
Мещаночка, девчонка, счетоводка,—
нельзя понять, откуда что бралось?

Ей помогало чувствовать событья,
произносить высокие слова
не мастерство, а детское наитье,
что иногда сильнее мастерства.

С естественной смущенностью и болью,
от ощущенья жизни весела,
она не то чтобы вживалась в роли,
она ролями этими жила.

А я в те дни, не требуя поблажки,
вертясь, как черт, с блокнотом и пером,
работал в заводской многотиражке
ответственным ее секретарем.

Естественно при этой обстановке,
что я, отнюдь не жулик и нахал,
по простоте на эти постановки
огромные рецензии писал.

Они воспринимались с интересом
и попадали в цель наверняка
лишь потому, что остальная пресса
не замечала нашего кружка.

Не раз, не раз — солгать я не посмею —
сам режиссер дарил улыбку мне:
Василь Васильич с бабочкой на шее,
в качаловском блистающем пенсне.

Я Машеньку и ныне вспоминаю,
на склоне лет, в другом краю страны.
Любил ли я ее?
Теперь не знаю,—
мы были все в ту пору влюблены.

Я вспоминаю не без нежной боли
тот грузовик давно ушедших дней,
в котором нас возили на гастроли
по ближним клубам юности моей.

И шум кулис, и дружный шепот в зале,
и вызовы по многу раз подряд,
и ужины, какие нам давали
в ночных столовках — столько лет назад!

Но вот однажды...
Понимает каждый
или поймет, когда настанет час,
что в жизни все случается однажды,
единожды и, в общем, только раз.

Дают звонки. Уже четвертый сдуру.
Партер гудит. Погашен в зале свет.
Оркестрик наш закончил увертюру.
Пора! Пора!
А Машеньки все нет.

Василь Васильич донельзя расстроен,
он побледнел и даже спал с лица,
как поседелый в грозных битвах воин,
увидевший предательство юнца.

Снимают грим кружковцы остальные.
Ушел партер, и опустел балкон.
Так в этот день безрадостный — впервые
спектакль был позорно отменен.

Назавтра утром с тихой ветвью мира,
чтоб нам не оставаться в стороне,
я был направлен к Маше на квартиру,
но дверь ее не открывалась мне.

А к вечеру, рожденный в смраде где-то
из шепота шекспировских старух,
нам принесли в редакцию газеты
немыслимый, но достоверный слух.

И услыхала заводская пресса,
упрятав в ящик срочные дела,
что наша поселковая принцесса,
как говорят на кухнях, понесла.

Совет семьи ей даровал прощенье.
Но запретил (чтоб все быстрей забыть)
не то чтоб там опять играть на сцене,
а даже близко к клубу подходить.

Я вскорости пошел к ней на работу,
мне нужен был жестокий разговор...
Она прилежно щелкала на счетах
в халатике, скрывающем позор.

Не удалось мне грозное начало.
Ты ожидал смятенности — изволь!
Она меня ничуть не замечала —
последняя разыгранная роль.

Передо мной спокойно, достославно,
внушительно сидела вдалеке
не Машенька, а Марья Николавна
с конторским карандашиком в руке.

Уже почти готовая старуха,
живущая степенно где-то там.
Руины развалившегося духа,
очаг погасший, опустелый храм.

А через день, собравшись без изъятья
и от завкома выслушав урок,
возобновил вечерние занятья
тот самый драматический кружок.

Не вечно ж им страдать по женской доле
и повторять красивые слова.
Все ерунда!
И Машенькины роли
взяла одна прекрасная вдова.

Софиты те же, мизансцены те же,
все так же дружно рукоплещет зал.
Я стал писать рецензии все реже,
а вскорости и вовсе перестал.

1966

ЛЮБЕЗНАЯ КАЛМЫЧКА

Курить, обламывая спички,—
одна из тягостных забот.
Прощай, любезная калмычка,
уже отходит самолет.

Как летний снег блистает блузка,
наполнен счастьем рот хмельной.
Глаза твои сияют узко
от наслажденья красотой.

Твой взгляд, лукавый и бывалый,
в меня, усталого от школ,
как будто лезвие кинжала,
по ручку самую вошел.

Не упрекая, не ревнуя,
пью этот стон, и эту стынь,
и эту горечь поцелуя.
Так старый беркут пьет, тоскуя,
свою последнюю полынь.

1968

КАЛМЫК

Хоть я достаточно привык,
но снова голову теряю,
когда мне Пушкина калмык
благоговейно повторяет.

Те незабвенные слова,
как духи музыки и света,
не утеряли волшебства
от гордой тщательности этой.

Считает, видно, мой джигит
в своей простительной гордыне,
что Пушкин впрямь принадлежит
степному воздуху полыни.

Что житель русских двух столиц
не озарялся их огнями,
а жил, седлая кобылиц
или беседуя с орлами.

И с непокрытой головой,
играя на своей свирели,
шел за кибиткой кочевой
между тюльпанами апреля.

С таким я слушаю стараньем,
так тихо ахаю в ответ,
как будто Полного собранья
на полке не было и нет.

Как словно мне все это внове
и я в Тригорском не бывал,
не пил «фетяску» в Кишиневе,
в Одессе устриц не глотал.

И с осторожностью веселой
для ожидающих веков,
пока он спал, я утром с полу
не собирал черновиков.

Как будто я из церкви тоже
не выносил на паперть прах
и гроб мучительный рогожей
не я укутывал в санях.

Читай еще, пастух степной.
Я чтенье это не нарушу.
От повседневности такой
мне перехватывает душу.

Как сердце бедное унять?
Скорей бы пушкинская сила
его наполнила опять
или совсем остановила.

Звучит средь сосен и снегов
до потрясения сознанья
то исполнение стихов,
как исполненье предсказанья.

1972

КАЛМЫЦКАЯ КОННИЦА

Твоя недюжинная сила,
от наслажденья хохоча,
за Стенькой Разиным ходила
и обожала Пугача.

Твердыни наши охраняя,
ты в черной бурке с башлыком,
с кобылы медленно свисая,
рубила недругов, блистая
своим решающим клинком.

По следу гиблому французов,
гоня туда девятый вал,
тебя угрюмо вел Кутузов,
седой российский генерал.

Во всем своем великолепье,
землей парижскою пыля,
ты принесла седло и степи
на Елисейские поля.

Вдоль по бульварам знаменитым,
между растворенных дверей
стучали мягкие копыта
верблюжьей конницы твоей.

Ты в наше время не устала,
но, тем набегам вопреки,
своих верблюдов расседлала
и в ножны вставила клинки.

Ты нынче трудишься проворно,
живешь, как пахари живут.
Но пахнут степи нефтью черной
и маки красные цветут.

1968

* * *

Еще вчера в степи полынной
пирог мы ели именинный
и пили горькое вино.
Как в пляске на эстраде нашей,
за пиалой ходила чаша,
пока не сделалось темно.

В котлах, горящих из тумана,
варились целые бараны,
шипели жирно вертела,
и над посудою стеклянной
витал щемящий дух сазана
и стерлядь длинная плыла.

Гора не сходится с горою,
как мы сошлись с ее икрою,
воздавши честь ее бокам.
Вся эта стерлядь золотая,
как будто женщина пустая,
всю ночь ходила по рукам.

Склонив победные знамена,
истратив порох похоронный,
мы пировали день и ночь.
Кумыс под темным небосводом
вкушал старик седобородый,
и пили пиво мать и дочь.

Мы ели всласть и пили вдоволь,
смеялись девушки и вдовы.
И, благочестью вопреки,
стучала белая посуда,
с кастрюлек сыпалась полуда,
блистали старые клинки.

Еще вчера, в начале мая,
мы пили водку, заглушая
печаль и грусть сердец больных.
Вокруг пылающей столицы
всю ночь скакали кобылицы —
увы! — без всадников своих.

1968

НИКО ПИРОСМАНИ

У меня башка в тумане,—
оторвавшись от чернил,
вашу книгу, Пиросмани,
в книготорге я купил.

И ничуть не по эстетству,
а как жизни идеал,
помесь мудрости и детства
на обложке увидал.

И меня пленили странно —
я певец других времен —
два грузина у духана,
кучер, дышло, фаэтон.

Ты, художник, черной сажей,
от которой сам темнел,
Петербурга вернисажи
богатырски одолел.

Та актерка Маргарита,
непутевая жена,
кистью щедрою открыта,
всенародно прощена.

И красавица другая,
полутомная на вид,
словно бы изнемогая,
на бочку своем лежит.

В черном лифе и рубашке,
столь прекрасная на взгляд,
а над ней порхают пташки,
розы в воздухе стоят.

С человечностью страданий
молча смотрят в этот день
раннеутренние лани
и подраненный олень.

Вы народны в каждом жесте
и сильнее всех иных.
Эти вывески на жести
стоят выставок больших.

У меня теперь сберкнижка —
я бы выдал вам заем.
Слишком поздно, поздно слишком
мы друг друга узнаем.

1966

ХАШИ В БАТУМИ

Безрассудно, словно дети,—
что нам левый поворот? —
на вершину на рассвете
Заурбек меня везет.

Из тумана гор не видно,
но на кухне у огня
здесь уже сидят солидно
грузчики и шоферня.

На вершине спозаранку,
как бы солнечный восход,
мне одна официантка
миску круглую несет.

Не кондитеров изделья,
не диетные супы,
а духана рукоделье
с крепким привкусом толпы.

По моей гражданской воле —
не дрожи, моя рука! —
сам я сыплю много соли
и побольше чеснока.

Съел я ложкой миску хаши,
возвратился и уснул.
Словно из народной чаши
по-приятельски хлебнул.

1966

* * *

...И в ресторации Дмитраки
Шампанским устриц запивать.

Кто — ресторацией Дмитраки,
кто — тем, как беспорочно жил,
а я умом своей собаки
давно похвастаться решил.

Да все чего-то не хватало:
то приглашают на лото,
то денег много или мало,
то настроение не то.

Ей ни отличий, ни медалей
за прародителей, за стать
еще пока не выдавали,
да и не будут выдавать.

Как мне ни грустно и ни тяжко,
но я, однако, не совру,
что не дворянка, а дворняжка
мне по душе и ко двору.

Как место дружеской попойки
и зал спортивный для игры
ей все окрестные помойки
и все недальние дворы.

Нет, я ничуть не возражаю
и никогда не возражал,
что кровь ее не голубая,
хоть лично сам не проверял.

Но для меня совсем не ново,
что в острой серости своей
она не любит голубого —
ни голубиц, ни голубей.

И даже день назад впервые
пижону — он не храбрым был —
порвала брюки голубые.
И я за это уплатил.

Потом в саду непротивленья,
как мой учитель Лев Толстой,
ее за это преступленье
кормил копченой колбасой.

1966

НЕДОПЕСОК

Спеша поспеть на лапах длинных
и все заваливаясь вбок,
февральским днем у магазина
к нам привязался кобелек.

У сына жалкого дворняжки,
как в том кругу заведено,
на грязно-белой тощей ляжке
светилось желтое пятно.

Он вовсе не втирался в гости,
как предприимчивый нахал,
а лишь угла и только кости
у человечества искал.

Не ставлю я себе в заслугу,
что, к удивленью своему,
и эту кость и этот угол
мы предоставили ему.

Весь день, не покидая места,
малыш дрожал исподтишка
и ждал от голоса и жеста
ругательства или пинка.

Но за какую-то неделю,
пройдя добрейшую из школ,
как мы старались и успели,
он постепенно отошел.

И начал вдруг, учуяв запах
и глядя в прожитое вспять,
колеблясь весь, на задних лапах
с лакейской выучкой стоять.

Но мы об этом позабудем,—
ведь понял он, пускай не вдруг,
что от него не надо людям
ни унижений, ни услуг.

Что стало радостным деяньем,
чуть не погибшее сперва,
уже само существованье
восторженного существа.

Он прикасался к нам мгновенно,
от счастья прыгал и визжал,
и этим самым всей вселенной
жить веселее помогал.

1972

ПО ПОВОДУ ГОЛУБЕЙ

Пока, увязнувши на треть,
скрипит планеты колесо,
она успела постареть,
твоя голубка, Пикассо.

Когда на улице светло,
любому мальчику видать:
с набитым зобом тяжело
ей подниматься и летать.

Нет блеска сокола в очах,
и нет бесстрашия орла.
Так приживалка на харчах
у благодетельниц жила.

Немало раз породу их,
когда идет киножурнал,
во фраках сизо-голубых
на ассамблеях я видал.

Не призываю воевать,
не обижаю прочих птиц,—
мне хоть бы только развенчать
ясновельможных голубиц.

1967

ИСТОРИЯ

И современники, и тени
в тиши беседуют со мной.
Острее стало ощущенье
шагов Истории самой.

Она своею тьмой и светом
меня омыла и ожгла.
Все явственней ее приметы,
понятней мысли и дела.

Мне этой радости доныне
не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжимей
вся та преемственность и связь.

Как словно я мальчонка в шубке
и за тебя, родная Русь,
как бы за бабушкину юбку,
спеша и падая, держусь.

1966

ПЕТР И АЛЕКСЕЙ

Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно бледнеют щеки,
и рука лежит на столе —

та, что миловала и карала,
управляла Россией всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.

День — в чертогах, а год — в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.

Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись, пред нею
замер слабостный Алексей.

Знает он, молодой наследник,
но не может поднять свой взгляд:
этот день для него последний —
не помилуют, не простят.

Он не слушает и не видит,
сжав безвольно свой узкий рот.
До отчаянья ненавидит
все, чем ныне страна живет.

Не зазубренными мечами,
не под ядрами батарей —
утоляет себя свечами,
любит благовест и елей.

Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
«На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?

Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи,—
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.

Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и усмешка моя, и руки
неумело повторены.

Но, до боли души тоскуя,
отправляя тебя в тюрьму,
по-отцовски не поцелую,
на прощанье не обниму.

Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело —
самодержцем российским быть!..»

Солнце утренним светит светом,
чистый снег серебрит окно.
Молча сделано дело это,
все заранее решено...

Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.

Молча скачет державный гений
по земле — из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.

1945—1949. Ленинград

МЕНШИКОВ

Под утро смирно спит столица,
сыта от снеди и вина.
И дочь твоя в императрицы
уже почти проведена.

А впереди — балы и войны,
курьеры, девки атташе.
Но отчего-то беспокойно,
тоскливо как-то на душе.

Но вроде саднит, а не греет,
хрустя, голландское белье.
Полузаметно, но редеет
все окружение твое.

Еще ты вроде в прежней силе,
полудержавен и хорош.
Тебя, однако, подрубили,
ты скоро, скоро упадешь.

Ты упадешь, сосна прямая,
средь синевы и мерзлоты,
своим паденьем пригибая
березки, елочки, кусты.

Куда девалась та отвага,
тот всероссийский политес,
когда ты с тоненькою шпагой
на ядра вражеские лез?

Живая вырыта могила
за долгий месяц от столиц.
И веет холодом и силой
от молодых державных лиц.

Все ниже и темнее тучи,
все больше пыли на коврах.
И дочь твою мордастый кучер
угрюмо тискает в сенях.

1966

КРЕСЛО

Все люстры празднично сияли,
народ толпился за столом
в тот час, когда в кремлевском зале
шел, как положено, прием.

Я почему-то был не в духе.
Оставив этот белый стол,
меня Володя Солоухин
по закоулочкам повел.

Он здесь служил еще курсантом,
как бы в своем родном дому,
и спасский бой больших курантов
был будто ходики ему.

В каком-то коридоре дальнем
я увидал, как сквозь туман,
ту келью, ту опочивальню,
где спал и думал Иоанн.

Она бедна, и неуютна,
и для царя невелика,
лампадный свет мерцает смутно
под низким сводом потолка.

Да, это на него похоже,
он был действительно таким —
как схима, нищенское ложе,
из ситца темный балдахин.

И кресло сбоку от постели —
лишь кресло, больше ничего,
чтоб не мешали в самом деле
раздумьям царственным его.

И лестница — свеча и тени,
и запах дыбы и могил.
По винтовым ее ступеням
сюда Малюта заходил.

Какие там слова и речи!
Лишь списки.
                    Молча, как во сне.
И, зыблясь, трепетали свечи
в заморском маленьком пенсне.

И я тогда, как все поэты,
мгновенно, безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это,
как бы играючи, присел.

Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла.
И молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла.

Я сразу умер и очнулся
в опочивальне этой, там,
как словно сдуру прикоснулся
к высоковольтным проводам.

Урока мне хватило с лишком,
не описать, не объяснить.
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?
Над кем решился подшутить?

1966

НАДПИСЬ НА «ИСТОРИИ РОССИИ» СОЛОВЬЕВА

История не терпит суесловья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя.

1966

ОДИН ДЕНЬ

1

Лет пять назад, смотря неловко,
я в тайной жажде новых строк
с писательской командировкой
попал в сибирский городок.

Он жил еще совсем недавно,
ведя свой быт по старине,
под вечер запирая ставни,
от магистралей в стороне.

Но вот по заданному сроку,
под гром литавр и шум газет,
здесь началась неподалеку
большая стройка наших лет.

Она с конторами своими,
самонадеянно смела,
его неведомое имя
себе решительно взяла.

Она, не спрашиваясь, сразу,
желая действовать скорей,
его пустынные лабазы
набила техникой своей.

У каждой славы есть изнанка.
Как надо думать, не с добра
у забегаловки цыганка
плясала, пьяная с утра.

Не зря, без видимого толку
меся наследственную грязь,
весь день ходила барахолка,
то чуть не плача, то смеясь.

Она задаром продавала —
ей прибыль нынче не с руки —
свою герань и одеяла,
свои корыта и горшки.

Ведь не в далекости, а вскоре
весь городок убогий тот
под волны будущего моря
в пучину темную уйдет.

Оно одно самодержавно
ходить на воле будет тут,
и только полочки да ставни
со дна глубокого всплывут.

Что ж делать, если это надо?!
И городок последних дней
находит горькую усладу
в заздравной гибели своей.

2

Не тратя времени задаром,
осенним воздухом дыша,
я по дощатым тротуарам
иду с оглядкой, не спеша.

Тут все привычно и знакомо,
все это я видал давно:
машины возле исполкома,
палатки, вывески, кино.

Как вдруг из внешности всегдашней
и повседневности самой —
из леса рубленная башня
явилась крупно предо мной.

Она недвижно простояла,
как летописи говорят,
не то чтоб много или мало,
а триста с лишним лет подряд.

В ее узилище студеном,
двуперстно осеняя лоб,
еще тогда, во время оно,
молился ссыльный протопоп.

Его проклятья и печали
в острожной зимней тишине
лишь караульщики слыхали,
под снегом стоя в стороне.

Мятежный пастырь, книжник дикий,
он не умел послушным быть,
и не могли его владыки
ни обломать, ни улестить.

Попытки их не удавались,
стоял он грубо на своем,
хотя они над ним старались
и пирогом и батогом.

В своей истории подробной
другой какой-нибудь народ
полупохожих и подобных
средь прародителей найдет.

Но этот — крест на грязной шее,
в обносках мерзостно худых —
мне и дороже и страшнее
иноязычных, не своих.

Ведь он оставил русской речи
и прямоту и срамоту,
язык мятежного предтечи,
светившийся, как угль во рту.

3

И я с улыбкою угрюмой,
как бы ступив через межу,
от протопопа Аввакума
в свое столетье ухожу.

Недалека моя дорога —
верста по-старому всего
от башни старого острога
до общежитья одного.

Но мне навстречу меж заборов,
стоящих чуть ли не впритык,
шел как-то медленно, не скоро,
не так, как надо, грузовик.

Остановившись удивленно,
я увидал в пяти шагах
нехорошо соединенный
кумач и траур на бортах.

Я не спросил у женщин здешних,
хоть находился невдали,
кого тем утром непоспешно
к последней пристани везли.

С какой-то важностью особой,
блюдя устав негласный свой,
шли провожатые за гробом
нестройной маленькой толпой.

А вслед за ними длинным цугом,
для узких улиц велики,
шли без просветов друг за другом
строительства грузовики.

Они тянули крупным планом,
как в том, еще немом, кино,
бруски и доски пилорамы,
цемент, железо и вино.

Надолго в памяти осталось,
как, все домишки шевеля,
под их колесами шаталась
и лезла в сторону земля.

Как будто их рукой усталой,
чтоб равнодушною не слыть,
сама Индустрия послала
тот гроб безвестный проводить.

Я все стоял с пустым блокнотом
и непокрытой головой,
пока за дальним поворотом
эскорт не скрылся грузовой.

4

За малый труд не ожидая
ни осужденья, ни похвал,
я сам не очень понимаю,
зачем все это написал.

Мне б оправданьем послужило
лишь то, скажу накоротке,
что это в самом деле было
в том утонувшем городке.

Да то еще, что стройка эта,
как солнце вешнее в окне,
дает сегодня море света
не городку, а всей стране.

1966

РЯБИНА

В осенний день из дальнего села,
как скромное приданое свое,
к стене Кремля рябина принесла
рязанских ягод красное шитье.

Кремлевских башен длился хоровод.
Сиял поток предпраздничных огней.
Среди твоих сокровищниц, народ,
как песня песен — площадь площадей.

Отсюда начинается земля.
Здесь гений мира меж знамен уснул.
И звезды неба с звездами Кремля
над ним несут почетный караул.

В полотнищах и флагах торжества
пришелицу из дальнего села
великая победная Москва,
как дочь свою, в объятья приняла.

К весне готовя белые цветы,
в простой листве и ягодах своих
она стоит, как образ чистоты,
меж вечных веток елей голубых.

И радует людей моей страны
средь куполов и каменных громад
на площади салютов, у стены
рябины тонкой праздничный наряд.

1947

ЗЕМЛЯНИКА

Средь слабых луж и предвечерних бликов,
на станции, запомнившейся мне,
две девочки с лукошком земляники
застенчиво стояли в стороне.

В своих платьишках стираных и старых
они не зазывали никого,
два маленькие ангела базара,
не тронутые лапами его.

Они об этом думали едва ли,
хозяечки светающих полян,
когда с недетским тщаньем продавали
ту ягоду по два рубля стакан.

Земли зеленой тоненькие дочки,
сестренки перелесков и криниц,
и эти их некрепкие кулечки
из свернутых тетрадочных страниц,

где тихая работа семилетки,
свидетельства побед и неудач
и педагога красные отметки
под кляксами диктантов и задач...

Проехав чуть не половину мира,
держа рублевки смятые в руках,
шли прямо к их лукошку пассажиры
в своих пижамах, майках, пиджаках.

Не побывав на маленьком вокзале,
к себе кулечки бережно прижав,
они, заметно подобрев, влезали
в уже готовый тронуться состав.

На этот раз, не поддаваясь качке,
на полку забираться я не стал —
ел ягоды. И хитрые задачки
по многу раз пристрастно проверял.

1957. Иркутск

ЯГНЕНОК

От пастбищ, высушенных жаром,
в отроги, к влаге и траве,
теснясь нестройно, шла отара
с козлом библейским во главе.

В пыли дорожной, бел и тонок,
до умиленья мил и мал,
хромой старательный ягненок
едва за нею поспевал.

Нетрудно было догадаться:
боялся он сильней всего
здесь, на обочине, остаться
без окруженья своего.

Он вовсе не был одиночкой,
а представлял в своем лице
как бы поставленную точку
у пыльной повести в конце.

1958. Казахстан

В БОЛГАРСКОМ ГОРОДКЕ

Сюда, где гулом постоянным
насыщен вдоволь бедный зал,
из интуристских ресторанов
я убежденно убежал.

Там все приборы да проборы,
манишек блеск и скатертей —
все это мне никак не впору,
не по симпатии моей.

А тут, жуя и торжествуя,
как в царстве малом и родном,
отлично время провожу я
за плохо прибранным столом.

Сюда любые лица вхожи:
вот плотник, весел и небрит,
складной аршин, как герб вельможи,
из куртки старенькой торчит.

С ужасным перцем суп горячий
глотает жадно паренек.
В его подсумке обозначен
не для забавы молоток.

А ты, сосед, с лицом убитым,
не погибай из-за любви.
Прекрасен твой пиджак из твида
и брюки белые твои.

Твоя подружка, может статься,
к тебе воротится опять,—
не надо глупо упиваться,
уж лучше глупо уповать.

Вон там, стаканы поднимая
за нашу жизнь, за наши дни,
шумит компания хмельная,
шуми, компания, шуми!

Здесь чуть не все друг дружку знают,
тут шутки общие, свои.
И между стульями порхают,
как на бульваре, воробьи.

1966

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ПСКОВСКОЙ ГОСТИНИЦЕ

С тех самых пор, как был допущен
в ряды словесности самой,
я все мечтал к тебе, как Пущин,
приехать утром и зимой.

И по дороге возле Пскова —
чтоб все, как было, повторить —
мне так хотелось ночью снова
тебе шампанского купить.

И чтоб опять на самом деле,
пока окрестность глухо спит,
полозья бешено скрипели
и снег стучал из-под копыт.

Все получилось по-иному:
день щебетал, жужжал и цвел,
когда я к пушкинскому дому
нетерпеливо подошел.

Но из-за той заветной крыши
на то крылечко без перил
ты сам не выбежал, не вышел
и даже дверь не отворил.

...И, сидя над своей страницей,
я понял снова и опять,
что жизнь не может повториться,
ее не надо повторять.

А надо лишь с благоговеньем,
чтоб дальше действовать и быть,
те отошедшие виденья
в душе и памяти хранить.

1967

ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД НАТАЛИ

Теперь уже не помню даты —
ослабла память, мозг устал,—
но дело было: я когда-то
про Вас бестактно написал.

Пожалуй, что в какой-то мере
я в пору ту правдивым был.
Но Пушкин Вам нарочно верил
и Вас, как девочку, любил.

Его величие и слава,
уж коль по чести говорить,
мне не давали вовсе права
Вас и намеком оскорбить.

Я не страдаю и не каюсь,
волос своих не рву пока,
а просто тихо извиняюсь
с той стороны, издалека.

Я Вас теперь прошу покорно
ничуть злопамятной не быть
и тот стишок, как отблеск черный,
средь развлечений позабыть.

Ах, Вам совсем нетрудно это:
ведь и при жизни Вы смогли
забыть великого поэта —
любовь и горе всей земли.

1966

СТАРУХА

Лишенная зренья и слуха,
справляя какой уже год,
в лиловой одежде старуха,
кренясь и колеблясь, идет.

Давно безо всякой поблажки
в сухой придорожной пыли
ее наклонились ромашки
и, все потеряв, отцвели.

Давно отшумели в апреле
на тихо угасшей заре
те птицы, что весело пели
еще при последнем царе.

Конечно, обидно и жалко,
что целая жизнь вдалеке.
не тоненький зонтик, а палка
в неверной, ослабшей руке.

Но, как и тогда на закате,
волшебные песни свои
в ее слуховом аппарате
не кончили те соловьи...

1972

* * *

Зима стояла в декабре
совсем не шутки ради:
снег на шоссе и во дворе,
в Москве и Ленинграде.

Как белых — в шахматах — успех,
как длительное чудо,
летал повсюду белый снег,
лежал себе повсюду.

Похорошела сразу ель,
мороз трещал как надо
почти что целых пять недель,
с походом три декады.

И я всю эту смену дней
с великою охотой
в закрытой комнате моей
без отдыху работал.

Однажды мимо в поздний срок
дорогой недалекой
проехал Пушкина возок...
Рысак проехал Блока.

А вслед за ними (хоть темно,
но, кажется, поближе)
Владим Владимыч на «рено»
проехал из Парижа.

Но вот уже, как в горле ком,
с какой-нибудь попойки
промчалась шумно с ямщиком
есенинская тройка.

Неся набор шутливых слов
и узенькую шпагу,
прошел задумчиво Светлов
своим неспешным шагом.

И сквозь поземку и метель,
как музыки начало,
вдали Мартынова свирель
возлюбленно звучала.

Зима дымилась на заре,
светлея и крепчая.
Я начал книгу в декабре
и в декабре кончаю.

1967

Я ОТСЮДОВА УЙДУ

Я на всю честную Русь
заявил, смелея,
что к врачам не обращусь,
если заболею.

Значит, сдуру я наврал
или это снится,
что и я сюда попал,
в тесную больницу?

Медицинская вода
и журнал «Здоровье».
И ночник, а не звезда
в самом изголовье.

Ни морей и ни степей,
никаких туманов,
и окно в стене моей
голо без обмана.

Я ж писал, больной с лица,
в голубой тетради
не для красного словца,
не для денег ради.

Бормочу в ночном бреду
фельдшерице Вале:
«Я отсюдова уйду,
зря меня поймали.

Укради мне — что за труд?! –
ржавый ключ острожный».

Ежели поэты врут,
больше жить не можно.

1967

СТАРШИЙ САНИТАР

Прекрасен старший санитар!
Он полупьян и сыт,
как будто школьный медный шар,
лицо его блестит.

Большое пузо на весу
клокочет в полусне,
для интеллекта — на носу
квадратное пенсне.

Подбриты брови той «Невой»,
которой черт не рад,
и отливает синевой
наглаженный халат.

Он по-культурному живет,
зато наверняка
тебе печенку отобьет
совсем без синяка.

Он в результате жизни всёй
снискал среди других —
и зависть всех своих друзей,
и ненависть больных.

Как грустно это, что везде
таится, как кошмар,
и в черной майской борозде,
и на предутренней звезде,
свой старший санитар.

13 декабря 1967

* * *

Там, где больные исцелялись,
средь лазаретной темноты,
чужие души раскрывались,
как ночью южные цветы.

Я их доверчиво и жадно,
без осужденья и похвал,
как некий житель безлошадный,
в конюшню тесную впускал.

Там и стоят они покуда,
не выбегая на поля,
на доски глядя из-под спуда,
губами тихо шевеля.

1968

ДВЕ СОБАЧЬИ МОРДЫ

Пусть я тронутый на треть
и в уме нетвердый,
но желаю лицезреть
две собачьи морды.

Больше женщин и юнцов —
близких исключая —
я своих прекрасных псов
увидать желаю.

Я б прикидывать не стал,
а единым духом
ту ложбинку почесал
за собачьим ухом.

А они — и тот, что млад,
и заматерелый —
указаний не хотят,
знают сами дело.

Сами знают, что сказать,
лая между прочим,
и от радости визжать
из последней мочи.

Я пришел из тех гостей,
из таковской бражки,
где ни мяса, ни костей —
киселек да кашки.

Я вам вместе, пес и пес,
из палаты жаркой
никакого не принес
малого подарка.

...Не желаю порошков
и пилюль снотворных,
а хочу собачьих псов,
сильных, непритворных.

1967

НОЧНОЙ СОН

По плечу видать — силен
отрок загорелый.
Черный волос лезет вон
из сорочки белой.

Смуглолиц и горбонос,
выделан как надо,
только глаз недобро кос,
в речи нету склада.

Но когда огонь прикрыт
в угловой палате —
как он спит! Ах, как он спит
на своей кровати!

Как для ссыльного орла,
помнящего горы,
та кровать ему мала,
плохо без простора.

Словно сделав два шага
на пути к разлуке,
остановлена нога,
распростерты руки.

Точно громкие слова
между оробелых,
затерялась голова
средь подушек белых.

И видны издалека
простынь с одеялом,
словно луг и облака,
ливень и обвалы.

Мир вокруг заклокотал,
небо повернулось.
Так бы, верно, Демон спал,
если бы заснулось.

1967

СЛЕПЕЦ

Идет слепец по коридору,
тая секрет какой-то свой,
как шел тогда, в иную пору,
армейским посланный дозором,
по территории чужой.

Зияют смутные глазницы
лица военного того.
Как лунной ночью у волчицы,
туда, где лампочка теснится,
лицо протянуто его.

Он слышит ночь, как мать — ребенка,
хоть миновал военный срок
и хоть дежурная сестренка,
охально зыркая в сторонку,
его ведет под локоток.

Идет слепец с лицом радара,
беззвучно, так же, как живет,
как будто нового удара
из темноты далекой ждет.

1967

ЧУВСТВО ЮМОРА

Есть и такие человеки
средь жителей любой страны,
что чувства юмора навеки
со дня рожденья лишены.

Не страшновато ль, в самом деле,
когда, глазенками блестя,
земле и солнцу в колыбели
не улыбается дитя.

Когда, оставив мир пеленок
для школы и других забот,
тот несмеющийся ребенок
сосредоточенно растет?

Усилья педантично тратя,
растет с угрюмою душой —
беда, коль мелкий бюрократик,
большое горе, коль большой.

Все запевалы и задиры
моей страны и стран иных
жить не умели без сатиры,
без шуток добрых и прямых.

Какая, к дьяволу, работа,
зачем поэтова строка
без неожиданной остроты,
без золотого юморка?!

Я рад поднять веселья кружку
за то, что сам ханжой не стал,
что заливался смехом Пушкин
и Маяковский хохотал.

За то, что в будущие годы —
позвольте так предполагать —
злодеев станут не свободы,
а чувства юмора лишать!

1972

МЕМУАРЫ

И академик сухопарый,
и однорукий инвалид —
все нынче пишут мемуары,
как будто время им велит.

Уж хорошо там или плохо,
они ведут живую речь,
чтоб сохранить свою эпоху,
свою историю сберечь.

Они хотят, чтоб не упало
с телеги жизни прожитой
травинки даже самой малой,
последней даже запятой.

И, отойдя в тенек с дороги,
чтоб не мешаться на пути,
желает каждый сам итоги
войне и миру подвести.

Они спешат свой труд полезный
отдать в духовную казну
России, сердцу их любезной,
как говорили в старину.

И мы читаем, коль придется,
не поднимая головы,
и стиль реляций полководца,
и слог прерывистый вдовы.

Как словно нас нужда толкает
или обязанность зовет,—
пора, наверное, такая,
такой уж, видимо, народ.

1972

НАДПИСЬ НА КНИГЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА

Стою я резко в стороне
от тех лирических поэтов,
какие видят только Фета
в своем лирическом окне.

Я не полезу бить в набат
и не охрипну, протестуя,—
пусть тратят перья, коль хотят,
на эту музыку пустую.

Но не хочу молчать сейчас,
когда радетели иные
и так и сяк жалеют нас,
тогдашних жителей России.

То этот мо́лодец, то тот
то в реферате, то в застолье
слезу напрасную прольет
над нашей бедною юдолью.

Мы грамотней успели стать,
терпимей стали и умнее,
но не позволим причитать
над гордой юностью своею.

Ее мы тратили не зря
на кирпичи и на лопаты,
и окупились те затраты,
служебной прозой говоря.

В предгрозовую пору ту
и на Днепре, и на Урале
мы сами нашу доброту
от мира целого скрывали.

И, как в копилке серебро,
не без трагических усилий
свое духовное добро
для вас до времени копили.

Быть может, юность дней моих,
стянув ремень рабочий туже,
была не лучше всех других,
но уж, конечно, и не хуже.

1972

ПАСТЕРНАК

Оттуда, где я время трачу,
хотя совсем не просто так,
мне над забором видно дачу,
где жил и умер Пастернак.

Еще не опустели грядки,
еще картофель не увял,
где солнце жгло его лопатки
и он с лопатой бушевал.

Еще дорога по привычке
проходит в направленье том,
где он к московской электричке
хрустел предутренним снежком.

Вот здесь, не принимая премий,
не слыша брани и похвал,
он, как бы отрицая время,
сам это время создавал.

1968. Переделкино

* * *

Мне говорят и шепотом, и громко,
что после нас, учены и умны,
напишут доскональные потомки
историю родной моей страны.

Не нужен мне тот будущий историк,
который ни за что ведь не поймет,
как был он сладок и насколько горек —
действительный, а не архивный мед.

Отечество событьями богато:
ведь сколько раз, не сомневаясь, шли
отец — на сына, младший брат — на брата
во имя братства будущей земли.

За подвиги свои и прегрешенья,
за все, что сделал, в сущности, народ,
без оговорок наше поколенье
лишь на себя ответственность берет.

Нам уходить отсюда не пристало,
и мы стоим сурово до конца,
от вдов седых и дочерей усталых
не пряча глаз, не отводя лица.

Без покаяний и без славословья,
а просто так, как эту жизнь берем,
все то, что мы своей писали кровью,
напишем нашим собственным пером.

Мы это нами созданное время
сегодня же, а вовсе не потом —
и тяжкое и благостное бремя,—
как грузчики, в историю внесем.

1972

ИЗ ПИСЬМА ПОЭТУ-СОБРАТУ

Я просто рад, что модным я не стал
и что, в отличье от иных талантов,
не сочинял стихов на эсперанто,
а лишь по-русски думал и писал.

В моих стихах — теперь, на склоне лет,
признаться самому необходимо —
и пафоса космического нет,
и мало захолустного интима.

В сиянье звезд таинственная высь...
Джульетта ждет посланья дорогого...
Без этого непросто обойтись,
но просто невозможно без другого:

я митинги могучие люблю,
где говорит оратор без бумаги,
и осеняют лозунги и флаги
трибуну, на которой я стою.

Одной тебе, действительность сама,
я посвящал листки стихотворений.
И в них не меньше сердца и ума,
чем в околичной праздной дребедени.

Пожалуй, что и эта даль, и высь,
весь мир земли, прекрасный и тревожный,
без моего пера бы обошлись.
Но мне без них — я знаю — невозможно.

1971

ПОЗДНЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Ты, несказанная страна
дождей и зорь, теней и света,
не сохранила имена
своих дописьменных поэтов.

Поклон им низкий до земли
за то одно, что в оны годы
они поэзию ввели
в язык обычный обихода.

Тому пора воздать хвалу,
кто без креста и без купели
дал имя грозное орлу
и имя тайное свирели.

Я, запоздняясь, благодарю
того, кто был передо мною
и кто вечернюю зарю
назвал вечернею зарею.

Того, кто первый услыхал
капель апреля, визг мороза
и это дерево назвал
так упоительно — береза.

Потом уже, уже потом
сюда пришел Сергей Есенин
отогревать разбитым ртом
ее озябшие колени.

1972

КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Поднебесный шатер бережливо укрыл
всех старух и рабочих, детей и гуляк.
Колыбель человечества — так окрестил
нашу Землю один гениальный чудак.

Только он позабыл по святой простоте,
поднимаясь по лестнице шаткой в жилье,
что слезами и кровью пропитаны те —
из травы и пшеницы — пеленки ее.

Может, он не видал в голубом далеке,
наблюдая в трубу планетарный туман,
что младенец сжимает в неверной руке
вместо праздной игрушки военный наган.

Вряд ли там, при свечах догорающих звезд,
ожидает пришельцев одна красота.
Свет Вселенной, наверное, так же не прост,
как пока еще жизнь на Земле не проста.

Чтоб всему человечеству праздничным быть,
чтоб сбылись утопистов наивные сны,
нам покамест приходится кровью платить
и за землю Земли, и за землю Луны.

1972

* * *

Что делать? Я не гениален,
нет у меня избытка сил,
но все ж на главной магистрали
с понятьем собственным служил.

Поэт не слишком-то известный,
я — если говорить всерьез —
и увлекательно, и честно
ту службу маленькую нес.

Да, безусловно, в самом деле
я скромно делал подвиг свой
не возле шаткой карусели,
а на дороге боевой.

Мой поезд, ты об этом знала,
гремя среди российских сел,
от петроградского вокзала
рывком внезапно отошел.

Свисток и грохот — нет заглушки!
Свет и движенье — не свернуть!
Его не кто-нибудь, а Пушкин
отправил в этот дальний путь.

И он прибудет, он прибудет,
свистя и движась напролом,
к другому гению, что будет
стоять на станции с жезлом.

1972

СОДЕРЖАНИЕ

Ярослав Васильевич Смеляков

ПОСТОЯНСТВО

Составитель
Алексей Анатольевич Крутицкий

Редактор В. С. Фогельсон
Художественный редактор В. В. Медведев
Технические редакторы Е. Л. Воронько,
Т. В. Тужилкина
Корректор Н. Г. Худякова

ИБ № 7701

Сдано в набор 16.05.90. Подписано к печати 23.07.90. А 03135. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс». Высокая печать. Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд л. 7,4. Тираж 50 000 экз. Заказ № 339. Цена 80 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069 Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Государственного комитета СССР по печати, 300600 г. Тула, проспект Ленина, 109